ВАЛ. СВЕНЦИЦКІЙ.

801-17
3511

АНТИХРИСТЪ

(Записки страннаго человѣка).

Изданіе 2-ое

СЪ ПОСЛѢСЛОВІЕМЪ.

СКЛАДЪ ИЗДАНІЯ:

С.-Петербургъ,
Книжный магазинъ „Лучъ" С. Цукермана, Александринская площ., 5.

Москва,
Книжный магазинъ Д. П. Ефимова, Моховая, д. Бенкендорфа.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1908.

Государственная
ордена Ленина
БИБЛИОТЕКА СССР
им. В. И. ЛЕНИНА
24610-47

ЧАСТЬ I.

2007076086

АНТИХРИСТЪ.

(Записки страннаго человѣка).

«И поклонятся Ему всѣ живущіе на землѣ, которыхъ имена ненаписаны въ книгѣ жизни у Агнца, закланнаго отъ созданія міра».
(Откр. Іоанна гл. 18, 8).
«Въ любви нѣтъ страха, но совершенная любовь изгоняетъ страхъ; потому что въ страхѣ есть мученіе».
(1-ое пос. Іоанна Гл. 4, 18).

Вмѣсто предисловія.

Я хочу написать свою исповѣдь. Но кто вѣритъ публичной исповѣди? Да и какое имѣю я право публично исповѣдываться? Для этого нужно быть Августиномъ, Руссо или Толстымъ. А я—только странный человѣкъ. Кому нужна моя исповѣдь? Между тѣмъ, я чувствую, что исповѣдаться мнѣ необходимо, и именно публично. Почему?... но можетъ быть это станетъ яснымъ изъ дальнѣйшаго. Покуда повѣрьте на слово, что это необходимо.

Съ одной стороны необходимо,—съ другой невозможно. Какъ выйти изъ этихъ противорѣчій?

Я рѣшился на очень рискованный, но единственный, пришедшій мнѣ въ голову, выходъ: я рѣшилъ свою исповѣдь озаглавить: «Записки страннаго человѣка».

Съ перваго взгляда можетъ показаться непонятнымъ, въ чемъ тутъ выходъ. Развѣ что-нибудь мѣняется

отъ заглавія? Увѣряю васъ, очень даже мѣняется. И я увѣренъ, что при такомъ заглавіи, мнѣ никто не повѣритъ, что я исповѣдуюсь.

Въ самомъ дѣлѣ,—чтобы не написалъ я, какую интимнѣйшую сторону, фактическую-ли, психологическую-ли, не затронулъ, съ какою-бы точностью она не соотвѣтствовала дѣйствительности,—я знаю наперед, что всякій читатель подумаетъ: это онъ нарочно отъ своего имени пишетъ, это такъ себѣ, литературная форма, для живости, такъ сказать, разсказа.

Если-же я, разъ въ жизни, съ дѣйствительной откровенностью, въ этихъ «Запискахъ» выложу всю грязь, всю путаницу, всю тьму своей души,—мнѣ никто не скажетъ, что ты, молъ, мерзавецъ,—а подумаетъ: авторъ должно быть хорошій человѣкъ, коли такого мерзавца сумѣлъ описать.

Если-же, наоборотъ, я вздумаю разсказать о чемъ-нибудь хорошемъ въ себѣ,—я увѣренъ, что этому хорошему всѣ порадуются отъ души. Да и почему не порадоваться, когда въ литературномъ типѣ найдутся положительныя стороны? О героѣ «Записокъ» не подумаютъ, какъ объ авторѣ «Исповѣди»: прекраснодушничаетъ, рисуется,—говоритъ, хочу каяться, а самъ хвастается.

И такъ, что невозможно для «Исповѣди», то возможно для «Записокъ».

Одно только меня пугаетъ, и такъ пугаетъ, что я чуть-чуть даже изъ-за этого вовсе не отказался писать «Записки». Дѣло въ томъ, что я, какъ странный человѣкъ, буду писать, конечно, странныя вещи; но, такъ какъ онѣ, въ большинствѣ случаевъ, будутъ далеко для меня не лестны, то несомнѣнно, пиши я «Исповѣдь», меня могли бы назвать какимъ угодно ругательнымъ словомъ, но во всякомъ случаѣ приняли бы все за чистую монету.

Теперь-же, въ «Запискахъ», всѣ эти странности будутъ отнесены за счетъ неумѣлости автора, усмотрятъ «стремленіе къ эффектамъ», нарушеніе художественной правды и массу другихъ преступленій,—словомъ не повѣрятъ. Боюсь, что скажутъ,—въ дѣйствительности это невозможно, это выдумка. Не въ самолюбіи тутъ дѣло. Но каково это слушать человѣку, который знаетъ, что все написанное имъ безусловная правда, и который готовъ ручаться за каждое написанное имъ слово...

Но другого выхода нѣтъ и приходится пренебречь этимъ неудобствомъ.

Дабы съ первыхъ же страницъ у меня съ читателями не возникало недоумѣній, я долженъ отвѣтить еще на одинъ вопросъ, который предвижу: «Если вы такъ хотите, чтобы ваши записки не приняли за «Исповѣдь», то зачѣмъ вы изо всѣхъ силъ хотите доказать, что это есть именно «Исповѣдь»?... Вѣдь если читатель повѣритъ всему тому, что сейчасъ здѣсь написано, онъ отнесется, очевидно, къ «Запискамъ» не какъ къ литературному явленію, а какъ къ «Исповѣди» и тогда никакого «выхода» не получится»?.

Вотъ въ томъ то и дѣло, что это «очевидно», а потому всякій читатель будетъ разсуждать такъ: знаемъ мы вашего брата, все это литературные выкрутасы, будь это дѣйствительно «Исповѣдь», развѣ бы онъ все это такъ откровенно написалъ-бы. И даже тѣ, которые безъ всякихъ предисловій еще склонны были бы подумать,—не о себѣ-ли, молъ, авторъ пишетъ,—теперь, послѣ этого предисловія, какъ бы я не божился, все равно мнѣ не повѣрятъ.

Больше того. Признайтесь, прочтя это предисловіе, вы подумали: авторъ разводитъ такую канитель, потому что считаетъ это характернымъ для своего героя... способъ старый, скучный и неудобный. Готовъ спорить, что самую эту приписку, которую я сдѣлалъ, самое это угадываніе вашей мысли, опять таки будетъ объяснено, какъ «художественный пріемъ». Да еще пріемъ-то «заимствованный у Достоевскаго». И такъ безъ конца. И слѣды окончательно замегены. Странное разсужденіе,—скажете вы? Возможно. Но только условимся наперед: не удивляйтесь ничему въ «Запискахъ», и помните, что пишетъ ихъ странный человѣкъ.

Говорятъ, личность больше всего выражается въ любви. Достаточно прослушать исторію любви какого-нибудь человѣка, чтобы узнать его лучше и полнѣе, чѣмъ за цѣлую жизнь знакомства. Я согласенъ съ этимъ. И потому, такъ сказать, канвой для «Исповѣди» выбираю свой «романъ». Но я сомнѣваюсь, что романъ самъ по себѣ, во всѣхъ своихъ сокровенныхъ уголкахъ, могъ быть понятъ. Чтобы понять его и, такимъ путемъ, спуститься на самое дно души,—необходимо знать хотя бы одну, основную черту характера человѣка. Вотъ потому я, прежде чѣмъ разсказывать о своемъ романѣ, поразскажу просто о себѣ. Вы думаете, будетъ скучно? Не бойтесь. Конечно, я не беллетристъ, и оченъ хорошо сознаю это, но если вы хоть разъ по человѣчески отнесетесь къ искреннему страданію,—вы и скучныя вещи прочтете со слезами. Вы пожалуй скажете: хватитъ ли у васъ еще таланта заставитъ насъ плакать? Но Боже мой, неужели, чтобы разсказать правду, чтобы разсказать нестерпимыя свои муки, нуженъ талантъ, и неужели плакать надъ страданіями другого нужно заставлять!...

И такъ, что-же прежде всего я могъ бы сказать о самомъ себѣ?

I.

О самомъ себѣ.

Больше всего и чаще всего я думаю о смерти. Она вызываетъ во мнѣ ужасъ и отвращеніе. Какъ это ни странно, но, можетъ быть, одна только смерть вызываетъ во мнѣ дѣйствительно живое чувство. Часто гляжу я на свои руки и думаю: черезъ нѣсколько десятковъ лѣтъ, можетъ быть черезъ годъ, можетъ быть черезъ день я стану трупомъ, это мясо начнетъ гнить, отвратительнымъ удушливымъ запахомъ наполнитъ комнату... При этой мысли я начинаю дрожать, чувствую, какъ холодѣютъ руки, ноги. И нестерпимо тоскливо, и нестерпимо мучительно становится на душѣ...

Когда я думаю о смерти, можетъ быть, потому такъ много и думаю о ней,—мнѣ, словно, хочется въ чемъ-то себя увѣрить, словно это еще не такъ, не навѣрно, что нужно еще что-то узнать... Но, въ результатѣ, всегда одно и то-же: умереть неизбѣжно. И новые приступы мучительнаго ужаса, до слезъ, до иступленія, до кусанія подушки и нелѣпаго крика... а затѣмъ опять что-то не то и не то...

Я не могу встрѣтить на улицѣ гробъ, чтобы не пойти провожать его до кладбища. Мнѣ противно смотрѣть на застывшее, пожелтѣвшее мертвое лицо, на холодныя, словно изъ воску сдѣланныя, руки; у меня кружится голова отъ смѣси приторнаго земляного запаха разлагающагося трупа, съ запахомъ воска и ладона,—но во мнѣ исчезаетъ всякая воля, какъ автоматъ смотрю я на чужое, когда-то смѣявшееся лицо, какъ автоматъ иду до могилы.

На кладбищѣ я всегда стараюсь встать поближе къ краю и ловлю каждый моментъ, каждое движеніе гроба. Когда бросаютъ первую лопату земли,—напряженіе достигаетъ высшей точки. Этотъ стукъ, словно въ пустую грудь, эти въ пыль разбивающіеся комья земли,—буквально физической болью отдаются въ моемъ сердцѣ.

Я возвращаюсь съ кладбища разбитый и больной. Въ каждомъ встрѣчномъ вижу я мертвеца. Мнѣ какъ-то странно, что они двигаются. Я почти не замѣчаю ихъ платья, ихъ усовъ, ихъ бороды, ихняго тѣла,—но почти до галлюцинаціи ясно вижу ихъ скелетъ, ихъ кости, черепъ, глазныя впадины, страшный черный оскаленный, смѣющійся ротъ. Чѣмъ здоровѣе и жизнерадостнѣе лицо, тѣмъ яснѣе представляю я себѣ его лежащимъ въ гробу, съ вѣнцомъ на головѣ, съ посинѣвшими щеками, готовыми разложиться.

Внутри себя я чувствую такую безжизненную пустоту, такое спокойствіе,—какое, мнѣ думается, обыкновенно наступаетъ только послѣ смерти,—ни страха, ни отвращенія, скорѣй даже едва уловимое чувство удовлетворенія, пожалуй даже торжества, какъ будтобы я знаю что-то, важное и неизбѣжное,—и между тѣмъ, никому, кромѣ меня, неизвѣстное...

Я началъ думать о смерти очень рано. Можно сказать, какъ помню себя. Когда мнѣ было лѣтъ семь, я часто, въ непонятномъ испугѣ, просыпался ночью, боязливо крестился, мнѣ почему-то казалось, что я умираю; но сейчасъ-же радостно вспоминалъ, что мнѣ еще только семь лѣтъ, жизнь вся впереди, смерть еще далеко, далеко,— и засыпалъ успокоенный....

Но мысль о смерти овладѣла всецѣло существомъ моимъ со смерти бабушки.

Какъ сейчасъ вижу я себя въ маленькой полутемной комнатѣ. Окна занавѣшены, сквозь нихъ просвѣчиваетъ сѣрое, мутное утро.

Я сижу въ углу, на диванѣ, усталый и измученный безсонной ночью. Чувство напряженнаго ожиданія притупилось; глаза устали смотрѣть на низкую закрытую дверь, за которой давно уже не слышно ни разговоровъ, ни стоновъ, ни кашля съ какой-то особенной булькающей хрипотой...

— Анюта, а Анюта, что это, звонятъ?—говоритъ за дверью глухой, до неузнаваемости измѣнившійся голосъ.

— Нѣтъ, бабушка, ничего, такъ это вамъ.

Неужели умретъ, неужели умретъ,—начинаю повторять я, зачѣмъ-то крестя вокругъ себя темное пространство. И я чувствую, какъ вздрагиваютъ мои губы, давитъ горло и тупой ужасъ охватываетъ со всѣхъ сторонъ.

— И я умру?—безпомощно носится въ моей головѣ: да, да, обязательно умру, ничего противъ этого нельзя сдѣлать, по тѣлу пройдетъ судорога, сердце остановится, положатъ на столъ...

— Анюта, а Анюта....

— Что бабушка?

— Опять звонятъ....

— Богъ съ вами, спите себѣ, никакого звона нѣтъ.

— Такъ это вѣрно гробъ заколачиваютъ, услышишь завтра.

Бабушка вздыхаетъ и шепчетъ:

— О Господи.. о-охо-хо...

Помню, какъ, придя на слѣдующій день изъ гимназіи, я подошелъ къ бабушкиной комнатѣ, но противъ ея двери стояло кресло...

Я понялъ, что это значило.

И мнѣ это показалось такимъ страннымъ, какъ будто я въ первый разъ узналъ, что люди умираютъ.

— Когда?—Зачѣмъ-то спросилъ я проходившую Аннушку.

— Въ девять часовъ.

— Туда можно?

— Можно.

Я взошелъ. Мнѣ бросился въ глаза край длиннаго бѣлаго стола, кривые подсвѣчники, монахиня, какія-то пустыя бутылки на окнѣ.

Но вглянуть въ лицо умершей я рѣшился только

въ церкви. Она лежала въ бѣломъ чепцѣ; морщины ея разгладились, носъ опустился губы посинѣли и были полуоткрыты... Всю дорогу до кладбища я ничего не замѣчалъ передъ собой...

И только когда гробъ опустили въ могилу и засыпали землею, предо мной, въ первый разъ, промелькнуло не желтое безжизненное лицо, а другое, съ мелкими, маленькими морщинками, доброй улыбкой, ласковыми близорукими глазами, повязанное черной косынкой, изъ подъ которой выбились такіе мягкіе, сѣдые волосы.

И мнѣ стало жалко всѣхъ, и ее, и себя, и священника, и всѣхъ, всѣхъ людей; и деревьевъ, которыя стояли такія бѣлыя, блестящія, покрытыя мягкимъ пушистымъ снѣгомъ, въ недвижномъ, морозномъ воздухѣ...

Я почти убѣжалъ съ кладбища. Мнѣ необходимо было остаться одному.

— Я не могу, не могу больше, — какъ вихрь неслось въ моей головѣ: или пусть сейчасъ, сію минуту тѣло мое станетъ такимъ же восковымъ, начнетъ такъ-же отвратительно пахнуть, или жить, жить послѣ смерти, вѣчно, всегда... и пусть тогда впереди гробъ и яма—они не страшны. О, почему я не могу повѣрить въ безсмертіе,—вѣдь вѣрятъ-же десятки тысячъ... На чемъ основана ихъ вѣра кромѣ страха смерти?... Есть-же у нихъ что нибудь?... Безсмертіе должно быть, должно быть... Боже мой, спаси меня, дай мнѣ вѣру...

Я долго не возвращался домой. Тамъ уже начинали безпокоиться. Когда я пришелъ, всѣ сидѣли въ столовой. Было нѣсколько человѣкъ близкихъ знакомыхъ. О чемъ-то громко разговаривали. Одинъ изъ моихъ братьевъ хохоталъ съ полнымъ ртомъ.

Я сѣлъ за столъ и тутъ только понялъ, что мнѣ стоилъ этотъ день...

— Люди не смѣютъ жить и не вѣрить въ безсмертіе... неожиданно для себя выкрикнулъ я, и подумалъ—я это говорю или нѣтъ. Я чувствую свое безсмертіе, какъ вижу дерево, какъ небо, какъ землю...

Безсмертіе не мечта; — жизнь мечта, если нѣтъ безсмертія—продолжалъ я.

И я видѣлъ, что всѣ какъ-то странно смотрятъ на меня. Голова у меня кружилась и всего меня непроизвольно покачивало изъ стороны въ сторону. Я долго говорилъ о безсмертіи, почти не сознавая, что я дѣлаю... Впечатлѣніе видимо было огромное. Когда я кончилъ и осмотрѣлся, всѣ сидѣли серьезные и блѣдные. Никто не шевелился, только мать моя быстро сказала:

— Счастливъ, кто можетъ вѣрить, какъ ты, но не всѣмъ это дано. И совсѣмъ шопотомъ прибавила: я не знала, что ты такой.

Говорю по совѣсти, я долженъ отдать себѣ эту справедливость: отъ этихъ словъ моей матери мнѣ стало стыдно, гдѣ-то глубоко сжалось сердце тяжелой тоской, мнѣ хотѣлось броситься къ ней и сказать ей всю правду, что я обманываю себя и ихъ, что я не вѣрю въ вѣчную жизнь, но что я не въ силахъ жить, не въ силахъ, не въ силахъ идти медленнымъ, но неизбѣжнымъ шагомъ въ эту проклятую яму, умолять, чтобы она спасла меня, спрятала, унесла отъ этого дикаго конца...

На одинъ мигъ, правда только на одинъ мигъ, но все-таки это было... А затѣмъ, сейчасъ-же я увидалъ, что братья и знакомые смотрятъ на меня по-новому. Я почувствовалъ себя выше ихъ, особеннымъ... я потянулся за хлѣбомъ и мнѣ казалось, что теперь всѣ обращаютъ вниманіе на каждое мое движеніе, и самъ я обратилъ необычное вниманіе на то, *какъ* я это дѣлаю...

Съ этого дня вся моя жизнь приняла новый оборотъ, я объявилъ себя вѣрующимъ христіаниномъ, — я увѣрилъ всѣхъ, кого могъ, въ своемъ твердомъ намѣреніи сдѣлаться миссіонеромъ. Въ этомъ пунктѣ я самъ не въ силахъ разобраться въ себѣ. Было ли это сплошь сознательной ложью, или здѣсь заключалась все-таки и нѣкоторая правда? А главное, если это была ложь, то для чего? Безусловно могу сказать слѣдующее. Ни одной минуты я *не* вѣрилъ въ то, что стану миссіонеромъ, ни одной минуты я не считалъ себя христіаниномъ,—но я не могъ не лгать. Я не

могъ не лгать потому, что эта ложь была необходима для моей жизни.

Мое мнимое христіанство было оружіемъ, которымъ я боролся противъ призрака смерти, накладывавшаго свою лапу на всю мою жизнь. Не будь христіанства, смерть довела бы меня до самоубійства. Страхъ передъ неизбѣжностью смерти, невозможность медленно ожидать ея, заставили бы силой приблизить конецъ. И хотя я не вѣрилъ въ Христа ни одной минуты, но лишь только обычными разсужденіями о грядущемъ уничтоженіи я доводилъ себя до знакомаго, нестерпимаго, леденящаго ужаса,—я въ отчаяніи и смятеніи хватался за религію.

Тутъ есть одна чрезвычайно странная вещь, я совершенно не въ силахъ себѣ ее объяснить,—пускай ужъ этимъ занимаются психологи,—но я готовъ поклясться въ правдивости своей «исповѣди». Дѣло въ томъ, что религія при полномъ отсутствіи вѣры имѣла, какъ я уже сказалъ, такое цѣлительное дѣйствіе, только при одномъ необходимомъ условіи: окружающіе люди должны были искренно считать меня вѣрующимъ. Повторяю, я не знаю, почему это было необходимо, но это такъ. Только при этомъ условіи идея безсмертія и всеобщаго воскресенія, въ которыя самъ я не вѣрилъ, могли спасти меня. Отсюда получалась такая, напримѣръ, нелѣпость. Мелкая, но страшно характерная. Я тщательно соблюдалъ посты. Ни при комъ изъ знакомыхъ, какъ бы ни былъ я голоденъ, не рѣшился бы я въ постный день съѣсть хотя бы кусочекъ скоромной пищи. Меня всѣ считаютъ постникомъ и аскетомъ, и такая репутація дѣйствительно необходима для меня. Но въ тѣ-же постные дни я заходилъ въ какой-нибудь ресторанъ, и безъ малѣйшей борьбы съѣдалъ скоромный обѣдъ. И вполнѣ понятно, почему безъ малѣйшей борьбы. Я вовсе не вѣрилъ въ посты,—мнѣ необходимо было считаться христіаниномъ до мельчайшихъ, даже внѣшнихъ подробностей, ибо такимъ путемъ я могъ, по крайней мѣрѣ, настолько освободиться отъ власти смерти, чтобы имѣть силы жить.

Вотъ въ чемъ лежитъ главная причина моей лжи, моего систематическаго обмана, непроходимой стѣной отдѣлившаго отъ людей мою дѣйствительную внутреннюю жизнь. Ибо то, что было относительно постовъ, было и относительно всего, касающагося христіанства. Вездѣ, гдѣ только возможно, я проповѣдывалъ христіанскія добродѣтели, но источникъ всѣхъ этихъ проповѣдей былъ всегда одинъ—страхъ смерти.

И вотъ все это создало мнѣ совершенно исключительное положеніе къ тому времени, къ которому относятся эти записки, т. е. когда я уже не гимназистъ робко сидящій у двери умирающей бабушки, а окончившій университетъ, и «оставленный» по кафедрѣ исторіи философіи и даже не лишенный нѣкоторой популярности молодой «писатель-проповѣдникъ» какъ меня называютъ.

Такое положеніе и такую репутацію мнѣ не трудно было создать, ни разу не подавъ поводъ заподозрить меня въ фальши, въ виду одной, чрезвычайно важной стороны моей личности.

Я долженъ признаться въ томъ, въ чемъ я никогда, никому въ жизни не признавался и не признаюсь.

Да если бы я вздумалъ кому-нибудь сказать объ этомъ, развѣ мнѣ повѣрили бы? Развѣ факты всей моей жизни не противорѣчатъ этому? Да, по внѣшности противорѣчатъ. Впрочемъ, можетъ быть, противорѣчатъ не только по внѣшности. Я опять-таки безсиленъ разобраться въ этомъ. Признаніе мое заключается вотъ въ чемъ: мое внутреннее отношеніе къ пороку, ко злу абсолютно безразлично. Не думайте, что это теоретическое отрицаніе морали, добра и зла и т. п. Не въ этикеткѣ тутъ дѣло,—чтобы одно называть добромъ, а другое зломъ, нѣтъ. Во мнѣ отсутствуетъ нравственное чувство. Во мнѣ не хватаетъ какого-то нерва, который реагиро-

валъ бы на зло такъ, а на добро иначе. Мнѣ самому страшно писать это,—но несомнѣнно, что чувства, такъ сказать, переживанія у меня абсолютно безразличны относительно грабежа и милостыни, храбрости и трусости, самопожертвованія и изнасилованія... Зло, порокъ, какъ таковой, не вызываетъ во мнѣ ни малѣйшаго протеста. О, какъ мнѣ передать эту муку, чувствовать себя ко всему одинаково мертвымъ, ко всему одинаковымъ ничто. Внутри меня какая-то пустота, смерть и тьма. Страхъ смерти сковалъ душу, и мысль о смерти опустошила все. Я долго самъ не зналъ этого. Жизнь и факты противорѣчили этому: вѣдь я чувствовалъ и чувствую искреннее отвращеніе, видя, какъ совершается какая-нибудь гнусность. Я считалъ себя благороднымъ. Я думалъ, что порокъ такъ дѣйствуетъ на меня. Всѣ такъ думаютъ обо мнѣ и до сихъ поръ.

Но это ложь.

Хоть на бумагѣ, хоть разъ въ жизни признаться въ этой лжи и вздохнуть свободно.

Я сдѣлалъ неожиданное открытіе. Я замѣтилъ, что какую бы гнусность я не думалъ, какую бы звѣрскую роль въ своемъ воображеніи я не игралъ, никогда ни малѣйшаго протеста не шевелилось въ моей душѣ. Больше того. Какъ бы скверно, или несправедливо я не поступилъ, самъ поступокъ, какъ таковой, не вызывалъ во мнѣ ни малѣйшаго раскаянія. Умомъ я зналъ, что это называется дурнымъ, безнравственнымъ, но напрасно напрягалъ всѣ усилія, чтобы почувствовать грѣхъ. И тутъ я понялъ, что во мнѣ душа трупа. Я почувствовалъ тогда въ первый разъ, что во мнѣ аттрофировано нравственное чувство, что я уродъ. И это открытіе привело меня въ ужасъ не меньшій, чѣмъ когда-то смерть бабушки.

Помню очень ясно, помню, какъ сейчасъ, что въ тотъ же самый моментъ, въ который я разъ навсегда признался себѣ въ этомъ уродствѣ, какъ бы въ отвѣтъ на это признаніе, гдѣ-то глубоко, глубоко во мнѣ шевельнулось зловѣщее чувство страха, но не

знакомое мнѣ чувство страха смерти, а совсѣмъ другое, какъ будто бы живое, во мнѣ появившееся существо... И я вздрогнулъ—почувствовавъ въ себѣ присутствіе этой чужой жизни...

О, теперь я хорошо знаю, что это за птица тогда во мнѣ шевельнулась.

Но объ этомъ послѣ, не буду разбрасываться.

Итакъ я сдѣлалъ свое открытіе. Оно повергло меня, на первыхъ порахъ, въ непреоборимое противорѣчіе. Видя порокъ, видя, какъ совершается какая-нибудь несправедливость,—я чувствую, какъ возмущается все существо мое. Откуда же берется это,—если для меня стерлось отличіе добра и зла? Но скоро и это противорѣчіе мнѣ разъяснилось.

Я скоро замѣтилъ, что порокъ только тогда и возмущаетъ меня, когда вижу, какъ онъ совершается, т. е. когда онъ въ комъ-нибудь другомъ. И совершенно то же самое, что я безо всякаго внутренняго протеста позволялъ самому себѣ,—совершенное кѣмъ-нибудь другимъ, приводило меня въ бѣшенство. Обличать благородно, съ пламеннымъ негодованіемъ,—моя стихія. Ну кому могло бы притти въ голову, что такой моралистъ, съ такими страстными порывами къ добру,—нравственный уродъ.

Откуда же этотъ гнѣвъ? Вотъ откуда: я не могу допустить, чтобы кто-нибудь безбоязненно, съ наслажденіемъ, не смущаясь мыслью о смерти, о грядущихъ мукахъ,—совершалъ злодѣянія. Опять эта вѣчная мысль о смерти питаетъ мой гнѣвъ. Какъ они смѣютъ за мигъ порочныхъ наслажденій пренебрегать нравственными требованіями, какъ они смѣютъ не думать о смерти и тѣмъ самымъ не отравлять себѣ грѣховныхъ радостей? Но можетъ быть вы меня спросите: почему я самъ, постоянно думающій о смерти и постоянно боящійся ея, почему я не боюсь вѣчныхъ мученій и не испытываю раскаянія, поступая дурно? Въ томъ то и дѣло, что я не боюсь вѣчныхъ мукъ, потому что не вѣрю въ вѣчную жизнь. Но я, другое дѣло. Я не вѣрю въ вѣчную жизнь и потому, конечно, мои наслажденія не могутъ быть отравлены

боязнью ада, но за то они отравлены вѣчной боязнью смерти. А они, отрицающіе, и безсмертіе, и незнающіе этого ужаса передъ смертью, какое они имѣютъ право на самодовольный грѣхъ? Если они не боятся смерти, то они д о л ж н ы бояться вѣчной жизни. Если ихъ не пугаетъ вѣчная жизнь, они д о л ж н ы бояться смерти!

Я не могу простить грѣшнику не его грѣхъ, а его безразличное отношеніе и къ смерти, и къ вѣчнымъ мукамъ. А потому у меня нѣтъ къ нему ни любви, ни состраданія, ни желанія исправить его для увеличенія, такъ сказать, суммы добра. Во мнѣ горитъ злоба къ этому лицу. Мнѣ хочется сдѣлать ему больно; пробудить въ немъ раскаяніе мнѣ хочется для того, чтобы онъ былъ наказанъ муками своего раскаянія.

Но даже и въ тѣ немногія минуты, когда у меня появляется, если не вѣра, то во всякомъ случаѣ тревога за будущее, даже и тогда ни о какихъ мукахъ совѣсти не можетъ быть рѣчи. Я умомъ знаю, что н а з ы в а е т с я грѣхомъ и у м о м ъ же стараюсь не грѣшить, — но это совсѣмъ, совсѣмъ не то, что раскаяніе, чувство своего грѣха. Повторяю, весь ужасъ въ томъ, что я не чувствую никакого нравственнаго, живого отношенія ни къ добру, ни къ злу.

Но какъ, скажите ради Бога, какъ все это можно обнаружить по внѣшнему виду? Ну, можетъ ли человѣкъ съ такимъ страданіемъ въ голосѣ, съ такимъ огнемъ въ глазахъ обличающій неправду, — не быть полусвятымъ? Такъ чего же удивительнаго, что всѣ эти странности сдѣлали меня въ глазахъ общества непорочнымъ моралистомъ...

Теперь, прежде чѣмъ перейти собственно къ роману, мнѣ остается сказать еще нѣсколько словъ о самой темной, самой грязной области моей души,—о моемъ отношеніи къ женщинамъ.

Мысль о женщинахъ играетъ въ моей жизни едва

ли не такую же роль, какъ мысль о смерти. Возможно, что то и другое имѣетъ какую-то внутреннюю связь. Развѣ сладострастіе не есть гніеніе души? И развѣ страхъ смерти, мертвящій душу, не обусловливаетъ собой ея гніенія?

Писать объ этомъ мнѣ труднѣе всего. Не потому, что совѣстно,—нѣтъ. «Угрызеній» я и въ этой области не чувствую, а потому «совѣсть» тутъ не при чемъ. Мнѣ трудно писать объ этомъ изъ самолюбиваго страха. А вдругъ, молъ, кто-нибудь и въ самомъ дѣлѣ пойметъ, что здѣсь пахнетъ не простыми «Записками»! Какъ не бояться мнѣ этого, когда всего выше, всего восторженнѣй во мнѣ почитаютъ именно эту мою чистоту. Даже недоброжелатели мои съ уваженіемъ говорятъ о моемъ чистомъ отношеніи къ женщинѣ. Но авось это маленькое предисловіе, да еще вотъ эта оговорка о предисловіи заметутъ и на этотъ разъ слѣды.

Моя репутація, а въ дѣтствѣ внѣшнія условія, — поставили меня вдалекѣ отъ женщинъ,—и потому вся грязь моей души обратилась на воображеніе. Я сталъ теоретикъ разврата. Я собралъ цѣлую коллекцію рукописей и книгъ Это мое царство. Фантазія моя въ этой области безпредѣльна, и я смѣло говорю,—геніальна. Цѣлыя длинныя вереницы лицъ, событій, сценъ такихъ утонченныхъ, такихъ упоительныхъ создало мое воображеніе.

О, если бъ я могъ разсказать все, что совершилъ я надъ женщинами. Съ какимъ паническимъ ужасомъ отвернулись бы отъ меня всѣ мои почитатели. Посмотрѣли бы люди мнѣ въ душу, когда я читаю о какихъ-нибудь насиліяхъ, положимъ, надъ армянскими женщинами въ Турціи. Эти стоны, эта кровь, эта безпомощная невозможность сопротивляться, приводятъ меня въ какое-то восторженное бѣшенство. И алчное воображеніе мое рисуетъ все новыя и новыя подробности. Я представляю себѣ каждую черту, каждый трепетъ тѣла, — и, боясь дышать, слѣжу за вихремъ своихъ фантазій...

Въ театрахъ, на улицахъ, въ ученыхъ собраніяхъ я

жадно ищу красивыхъ женщинъ, и найдя, сейчасъ же дѣлаю ихъ героинями своихъ чудовищно-грязныхъ мечтаній. И такъ ясно, съ такими подробностями рисую себѣ все, что право не знаю, — прибавилось ли бы что-нибудь отъ того, что это произошло бы въ дѣйствительности.

Я думаю скорѣй наоборотъ: дѣйствительность была бы менѣе ярка и менѣе соблазнительна.

Я знаю, что скажутъ про меня нѣкоторые господа, особенно же склонные къ «научному» взгляду на жизнь,—больной человѣкъ—маньякъ. Но, милостивые государи, я позволю себѣ заявитъ, что такихъ, или тому подобныхъ маньяковъ, среди мужчинъ 99 %.

Не думайте, что въ моихъ интересахъ сгущать краски. Наоборотъ: вы сейчасъ увидите, что я готовъ былъ бы отдать полъ своей жизни, лишь бы это была неправда. Не потому, конечно, что мнѣ дорога добродѣтель, а совсѣмъ изъ другихъ побужденій. Но въ томъ-то и дѣло, что послѣ тщательнаго изученія и наблюденія надъ жизнію я съ горечью и со злобой долженъ признаться, что не одинъ я такъ думаю о женщинахъ, и не у одного меня половина жизни проходитъ въ сладострастныхъ мечтаніяхъ, а почти у всѣхъ. Вы не смотрите на него, что онъ ученый, или видный общественный дѣятель—вы спросите его жену какой онъ пакостникъ и развратникъ, а еще лучше его любовницу. Развратъ, какъ ѣда. Одни ѣдятъ для утоленія голода,—другіе для наслажденія. Между тѣмъ и другимъ цѣлая пропасть. Мужикъ изо дня въ день ѣстъ щи да кашу и она никогда не надоѣстъ ему; а попробуй-ка вамъ мѣсяцъ изо дня въ день подавать бульонъ и котлеты?...

99 % интеллигенціи такіе «гастрономы». Я, такъ сказать, теоретически убѣжденъ, что всѣ мужчины развратны. И я не вѣрю всѣмъ этимъ почтеннымъ господамъ, пишущимъ и говорящимъ съ дрожью въ голосѣ о томъ, что въ женщинѣ нужно видѣть «человѣка». Посмотрите, какъ эти моралисты заглядываютъ на улицахъ подъ шляпки проходящимъ дамамъ и какими глазами смотрятъ они имъ вслѣдъ. Я все это

вижу — и въ этомъ одна изъ главныхъ мукъ моей жизни!

Ибо въ этомъ-то пунктѣ всего ярче сказалось и мое мертвенно-индифферентное отношеніе ко злу, и мое неистово-злобное отношеніе къ совершающимъ зло.

Какое угодно, самое безчеловѣчное насиліе готовъ я въ своемъ воображеніи совершить надъ женщиной безъ малѣйшаго внутренняго колебанія. Я чувствую, что и въ дѣйствительности готовъ сдѣлать то же самое; что если меня отъ этого что-либо удерживаетъ, то во всякомъ случаѣ не мотивы моральнаго свойства. Но мысль, что другіе думаютъ то же, что и я, и не только думаютъ, но и поступаютъ такъ, заставляетъ меня буквально плакать отъ злобы. Я ревную всѣхъ женщинъ и знакомыхъ, и незнакомыхъ. Я хохотѣлъ бы, чтобы мнѣ одному принадлежало право грѣшить и наслаждаться женщинами. Я не могу безъ отвращенія видѣть свадьбы. Я не могу помириться съ мыслью, что она, эта невѣдомая мнѣ дѣвушка, которую я никогда не узнаю, да и не хочу узнать,—будетъ принадлежать какому-то мужчинѣ.

Я не могу слышать, какъ разсказываютъ о своихъ побѣдахъ, о своихъ похожденіяхъ. Меня трясетъ всего отъ ревности, отъ злобы, отъ зависти. Мущина мнѣ становится отвратителенъ, поступокъ его кажется чудовищнымъ...

Вотъ поэтому-то проповѣдь цѣломудрія, обличеніе сладострастія—мой конекъ. Здѣсь я превосхожу самого себя. Никогда мое краснорѣчіе не производитъ такого потрясающаго впечатлѣнія, какъ въ эти минуты. Съ какимъ восторгомъ и благоговѣніемъ смотрятъ тогда на меня женщины. Но если-бы онѣ знали, что дѣлаетъ съ ними этотъ ассетъ какой, неистовой оргіи предается онъ въ своемъ воображеніи придя домой и сидя за своимъ письменнымъ столомъ!

Мой гнѣвъ, мое стремленіе обличать и клеймить достигаетъ своего апогея, когда я развратъ вижу своими глазами. Для иллюстраціи приведу слѣдующее:

Это произошло въ благородномъ собраніи, послѣ

одного симфоническаго концерта. Концертъ кончился. Публика сплошной стѣной спускалась внизъ по лѣстницѣ.

Немного впереди себя, около самыхъ перилъ я замѣтилъ высокую, красивую дѣвушку, въ необыкновенно простомъ и скромномъ черномъ платьѣ. За ней шелъ маленькій худенькій господинъ, лысый, съ небольшой сѣденькой бородкой. Народу была масса, тѣснота и давка была страшная. Я слѣдилъ за дамой и за господиномъ. И вдругъ замѣтилъ, что худенькій господинъ, пользуясь тѣснотой, позволилъ себѣ нѣчто совершенно непристойно - оскорбительное. Мнѣ это было видно черезъ перила. Я видѣлъ, какъ вспыхнуло лицо дѣвушки, какъ она повернула къ нему свое испуганное и гнѣвное лицо,—видѣлъ какъ она хотѣла крикнуть, но видимо сробѣла и растеренная не знала, что ей дѣлать. Кровь хлынула мнѣ въ лицо. Я рванулся впередъ и, не помня себя, что было силъ ударилъ лысаго господина кулакомъ по лицу...

Я не спалъ всю ночь. Я думалъ о ней, объ этой незнакомкѣ, и эти испуганные глаза, этотъ румянецъ отъ стыда и гнѣва наполнялъ все существо мое такимъ мучительнымъ, такимъ захватывающимъ сладострастіемъ... Какимъ пустякомъ была выходка этого господина въ сравненіи съ моими грезами. И какою подлостью казался мнѣ его поступокъ, и какъ безконечно ненавидѣлъ я его...

Вотъ я и закончилъ всѣ предварительныя свѣдѣнія о своей личности. И хотя всѣ перепитіи, всѣ страданія моей жизни еще впереди, хотя я, можно сказать, только заикнулся о нихъ, а и то ужъ чувствую какъ нестерпимый гнетъ сползаетъ съ плечъ.

Помните вначалѣ я просилъ на слово повѣрить мнѣ, что исповѣдь для меня необходима. Можетъ быть теперь вы уже и догадались зачѣмъ это? Можетъ быть и безъ объясненія вамъ это ясно? Но лучше ужъ я объяснюсь. Хотя «объясниться» и «объяснить» далеко не

всегда одно и то же. Боюсь что и на этотъ разъ я только запутаю дѣло.

Вы помните, что я писалъ объ одномъ необходимомъ условіи, которое одно спасаетъ меня отъ страха смерти: мнѣ необходимо, чтобы окружающіе считали меня христіаниномъ. Такъ вотъ видите-ли, нѣчто подобное происходило и тутъ. Двойственность моей жизни, невозможность никому открыть душу, по правдѣ, по совѣсти; невозможность нигдѣ и никогда побыть самимъ собой, такъ измучили, утомили мою душу, что послѣ трагическаго конца моего „романа“ мнѣ стало не въ мочь; захотѣлось хоть на бумагѣ, хоть въ формѣ «Записокъ» сбросить съ себя «добродѣтельнаго» двойника который въ дѣйствительности нисколько на меня не похожъ, и съ которымъ исключительно и имѣютъ дѣло мои знакомые... хоть на бумагѣ сказать то, о чемъ боишься даже подумать, точно могутъ подслушать эти думы; нарушить эту проклятую комедію, которую я играю, чтобы спастись отъ ужаснаго призрака смерти.

Но знаете-ли, почему я не могу никому въ дѣйствительности открыть свою душу? Да потому, что тогда будетъ нарушена та иллюзія моего христіанства, безъ которой я не могу жить. Собственно мнѣ нужно было бы такого собесѣдника, который-бы выслушалъ меня и... сейчасъ-же все забылъ. Но гдѣ-же возможно достать такого собесѣдника? Такимъ образомъ, мнѣ предстояло рѣшить, казалось, неразрѣшимую задачу: придумать что-нибудь такое, что съ одной стороны было-бы «исповѣдью»,—съ другой не разрушалобы моей репутаціи христіанина.

Я съ радостью, какъ утопающій, схватился за мысль написать „Записки“. Это былъ дѣйствительно блестящій выходъ! Вѣдь всякій, прочтя эти „Записки“, отнесется къ нимъ, какъ къ нѣкоторой возможной исповѣди, хотя, быть можетъ, никѣмъ и непережитой въ дѣйствительности. Но, съ другой стороны, не припишетъ все это автору „Записокъ“.—и, такимъ образомъ, нужная мнѣ репутація не пострадаетъ. Другими словами, меня выслушаютъ, на мигъ забудутъ,

что это выдумка, отнесутся къ написанному, какъ къ „Исповѣди“, но потомъ придутъ въ себя, увидятъ, что это „романъ“, не больше,—и успокоются.

Вотъ потому-то единственно, что меня смущало, это то, что если я озаглавлю свою «Исповѣдь» «Записками», мнѣ могутъ не повѣрить, что все написанное въ нихъ — правда, т.-е. сразу отнесутся къ нимъ, какъ къ «литературѣ».

Но неужели мнѣ не удастся этотъ единственный способъ, чтобы хоть на мигъ вздохнуть по-человѣчески, хоть на нѣсколько часовъ побыть самимъ собой,—и получить въ видѣ этой бумаги и этого пера, наконецъ, того молчаливаго собесѣдника, который все выслушиваетъ и все забудетъ!

Бумага, конечно, не собесѣдникъ, но все-таки, все-таки, хоть что-нибудь.

II.

Начало конца.

Знакомство съ Николаемъ Эдуардовичемъ и сестрой его Вѣрочкой имѣло для всей моей жизни, можно сказать, рѣшающее значеніе. До сихъ поръ не могу понять, почему, послѣ первой же бѣглой и случайной встрѣчи я сразу такъ и рѣшилъ, что судьба насъ свела недаромъ.

Къ людямъ вообще я отношусь съ недовѣріемъ. Никакіе внѣшніе признаки искренности для меня неубѣдительны. Я знаю по личному, постоянному опыту, что искренность вещь неопредѣлимая. И твердо держусь мнѣнія, что человѣческая душа—потемки. О, и какія еще потемки! И потому всегда и ко всѣмъ отношусь съ оговоркой: а можетъ быть онъ и мерзавецъ. Тяжело это, конечно, но какъ же можетъ быть иначе? Кто сможетъ меня убѣдить, что не всѣ такіе, какъ я,—что не у всѣхъ въ душѣ есть такой же двойникъ, что не всѣ носятъ этотъ мучительный костюмъ, прикрывающій душу? И вотъ, перваго изъ людей, Николая Эдуардовича, я встрѣтилъ, которому п о в ѣ р и л ъ, повѣрилъ сразу. И когда почувствовалъ въ этомъ что-то непривычное, и хотѣлъ нарочно убѣдить себя, что и онъ такой же, какъ всѣ, — то оказалось, что вѣра моя идетъ въ разрѣзъ со всѣми моими соображеніями, и я просто, безъ всякихъ оговорокъ и запятыхъ, вѣрю ему безусловно.

Давно ли я познакомился съ нимъ. И какъ безконечно далекимъ кажется мнѣ это время... И немудрено, я, можно сказать, прожилъ въ эти два года всю свою жизнь и дошелъ до публичной исповѣди, кото-

рую наивными оговорками прикрываю въ этихъ «Запискахъ».

Съ обычной тяжестью на душѣ сидѣлъ я на берегу моря въ будочкѣ и пилъ нарзанъ.

Я моря не люблю. Оно возбуждаетъ во мнѣ безотчетную душевную тревогу, синяя даль мучительно притягиваетъ къ себѣ, и изъ морскихъ глубинъ встаютъ, какъ призраки, вопросы: о вѣчности, о жизни, о смерти...

Въ будочку вбѣжала дѣвочка лѣтъ пятнадцати, блѣдная, едва переводя духъ. Въ дрожащихъ рукахъ ея дребезжало маленькое ведерко.

— Льду, ради Бога,—почти прокричала она и задохнулась совсѣмъ: кровь горломъ... умираетъ...

Приказчикъ, вытиравшій бутылки, изъ-подлобья посмотрѣлъ на нее, побагровѣлъ и угрюмо отрѣзалъ:

— Нѣтъ льду.

Дѣвочка не двигалась, нѣсколько моментовъ стояла молча и вдругъ, прижавши худенькія ручки къ своему лицу, бросилась прочь, направо по тропинкѣ...

Внезапно, и не знаю почему мнѣ стало нестерпимо жалко ее. Особенно помню, почему-то жалкими были ея коротенкіе рукава, изъ которыхъ высовывалась тоненькая, дрожащая, совсѣмъ дѣтская, рука. Это бываетъ со мной. Можетъ быть тутъ есть какое-нибудь противорѣчіе, — но я подверженъ приступамъ неудержимой, всю мою душу размягчающей жалости... И обыкновенно какой-нибудь пустякъ такъ потрясаетъ меня. Иной разъ даже въ мысляхъ, даже въ воображеніи, совершая жестокость и насиліе, вдругъ представишь себѣ какую-нибудь такую подробность, отъ которой все сердце затрепещетъ внезапной жалостью. Впрочемъ, говорятъ, даже преступники бываютъ сентиментальны.

— Дайте ей льду,—быстро сказалъ я приказчику: я вамъ заплачу, сколько хотите.

Онъ согласился; насыпалъ мнѣ цѣлую шапку льду и я бросился догонять дѣвочку.

Такъ началось мое знакомство. Дѣвочка эта была сестра Николая Эдуардовича. Испугъ ея оказался напрасенъ: когда мы пришли, Николай Эдуардовичъ уже ходилъ по комнатѣ.

Увидавъ его, я невольно остановился, и даже забылъ подать руку.

Передо мной стоялъ не человѣкъ, а образъ. Да, гдѣ-то, когда-то, можетъ быть, въ раннемъ дѣтствѣ я видѣлъ именно такую икону, такой ликъ Христа.

Худой, блѣдный, почти прозрачный, онъ свѣтился весь тихимъ, радостнымъ, убаюкивающимъ свѣтомъ. Мягкія черныя кудри падали на плечи, а задумчивые, но ясные глаза, такіе лучистые, прямые, такъ и ласкали, такъ и притягивали къ себѣ.

Да, да, именно Христосъ долженъ былъ быть такимъ: и сильный, и любящій, и радостный, и прекрасный.

Вѣрочка быстро, не договаривая фразъ, спрашивала о томъ, какъ онъ себя чувствуетъ, разсказывала о нашемъ знакомствѣ, перебивала сама себя, смѣялась, кричала, обнимала брата.

Я молча, съ безпокойнымъ, совершенно необычнымъ для меня чувствомъ всматривался въ прекрасное, загадочное лицо своего новаго знакомаго.

Помню, одна странная мысль тогда же пришла мнѣ въ голову:

— Такъ же вотъ и Іуду, — подумалъ я: должно было притягивать ко Христу то, что въ присутствіи Христа онъ не чувствовалъ своего невѣрія.

Но самое важное, самое необычайное, что имѣло свои роковыя послѣдствія, заключалось вотъ въ чемъ.

Съ перваго же раза въ его присутствіи я не могъ отдѣлаться отъ какой-то двойственности. Будто не только я смотрѣлъ, я слушалъ, я наблюдалъ, а еще кто-то, во мнѣ же заключенный. Я смотрѣлъ на Николая Эдуардовича съ чувствомъ радостнымъ, теплымъ, а тотъ, другой, я не нахожу другого слова, какъ сказать — съ любопытствомъ. Но это не было обыкновенное любопытство. Въ немъ было что-то тяжелое и мучительное. Когда я думалъ объ этомъ чувствѣ, опять мысль объ Іудѣ пришла мнѣ въ голову.

— А что,—подумалъ я: на Тайной Вечерѣ, когда Іисусъ Христосъ сказалъ, — одинъ изъ васъ предастъ меня, и ученики въ ужасѣ спрашивали одинъ за другимъ: не я ли? не я ли? — Іуда, задавая этотъ вопросъ, въ числѣ прочихъ учениковъ, не испытывалъ ли того же гнетущаго, холоднаго любопытства: узнаетъ ли, молъ, или нѣтъ?... Можетъ быть даже тамъ, этотъ поцѣлуй въ Геѳсиманскомъ саду, это «здравствуй, равви» исходило изъ той же темной, таинственной бездны души?...

Недолго просидѣлъ я у нихъ. Впечатлѣнія были слишкомъ сильны и новы. Лежа въ постели, уже совсѣмъ въ полуснѣ, я вспомнилъ Вѣрочку, и подумалъ: она не въ моемъ вкусѣ... такая худенькая, слабенькая, чуть обидишь, ужъ расплачется и навѣрно напряженно, всѣми нервами... а интересно, часто она о смерти думаетъ, или нѣтъ... сухенькая, смѣшная старушка изъ нея выйдетъ...

Зачѣмъ, зачѣмъ тогда я пошелъ на этотъ концертъ! Бѣжать бы, бѣжать, не оглядываясь—отъ этого знакомства, отъ этого любопытства, и жить изо дня въ день, вѣчно мучаясь, вѣчно одинокимъ, безотчетно чувствуя причины и ужаса, и смерти своей души. Никогда бы не узнавать, — что я, зачѣмъ я, откуда я... къ чему все это?

Музыка, Бетховенъ, черная ночь, къ чему они связали мою изломанную душу съ той, съ другой жизнію —и къ чему я узналъ свою? Тысячи разъ спрашиваю я себя: къ чему? Ужели къ тому, чтобы теперь дойти до этого состоянія, когда иной разъ не на шутку съ тоской спрашиваешь себя: живъ ты, или уже умеръ?...

Впрочемъ, можетъ быть, и въ этомъ есть какой-нибудь «высшій» смыслъ, непреходящій даже съ моей смертью!!

О, памятный вечеръ, окончательно и безповоротно рѣшившій мою жизнь! Вечеръ, который бросилъ меня

туда, гдѣ я во всей глубинѣ узналъ самого себя. И какъ тогда я не понималъ, что рѣшается судьба моя, что произносится приговоръ мой...

На слѣдующій день послѣ перваго знакомства я былъ съ ними въ концертѣ.

Я сейчасъ слышу эти дьявольскіе звуки Бетховенской сонаты. Вы, можетъ быть, подумаете, что любовь пробудили они, какъ оно и полагается для завязки «р о м а н а»... О нѣтъ, не бойтесь,—т а к о й пошлости не случилось. Можетъ быть въ комъ-нибудь другомъ, но во мнѣ никакая музыка не можетъ пробудить любовь... а музыка Бетховена особенно. До любви ли, когда изъ-за каждой ноты, изъ-за каждой дрожащей струны, на васъ смотритъ это загадочное, почти нечеловѣческое лицо, этотъ нестерпимый взглядъ, больше похожій на какой-то таинственный просвѣтъ, въ нездѣшній, сокровенный міръ...

— Вамъ нравится?.. говорила Вѣрочка,—а я не могъ разжать губъ, чтобы отвѣтить ей... Это кто-то мнѣ говоритъ тамъ...

Я понялъ смерть. Я вижу ее, она кругомъ меня, я чувствую ее. Огни потухли. Черный залъ. Никого,— ни души. И въ даль, къ темному небу, къ пустому небу, гдѣ ни звѣзды, ни облака, убѣгаетъ, теряется безконечная вереница мертвыхъ человѣческихъ тѣлъ... И въ отвѣтъ имъ пустое н и ч т о. О, въ этомъ ничто схоронились всѣ надежды, всѣ радости, всѣ восторги, все горе, всѣ страданія и слезы...

Робкій лепетъ розовенькихъ дѣтскихъ губокъ, и ласковое прикосновеніе шелковыхъ, нѣжныхъ кудрей. Боже, какъ весело. Боже, какъ счастливо. Да вѣдь это смѣхъ чей-то, серебристый, задорный смѣхъ,—такъ бы и смѣяться, смѣяться безъ конца... Все кругомъ ожило, заблестѣло, засіяло. Хлынулъ воздухъ, раскрылось небо и пѣсня летитъ туда, въ голубую, вѣчную даль..

Нѣтъ, нѣтъ. Не можетъ быть... Еще хоть одинъ аккордъ, хоть одинъ звукъ... Молчаніе... Почему такъ вдругъ, до боли, заныла грудь? Гдѣ я слышалъ эти стоны, эти зловѣщіе грубые звуки? Несутъ... я вижу... Что это галлюцинація?..

— Боже мой, вѣдь я на концертѣ,—хочу я крикнуть на ухо Вѣрочкѣ,—но они ужъ здѣсь. Они принесли... Бѣлый, глазетовый, съ кружевами, съ тяжелыми ручками... Я видѣлъ его, видѣлъ... но почему я не могу вспомнить, гдѣ видѣлъ его? Какъ мучительно, когда не можешь вспомнить... Гробъ все ниже, все ниже...

Черный залъ, никого ни души, ни живыхъ, ни мертвыхъ. Пусто, тоскливо—мучительно.

— Боже мой, вѣдь это вся жизнь пролетѣла. Хоть что-нибудь еще бы. Нельзя же, чтобы т а к ъ все это кончилось...

И вотъ изъ темноты что-то смутно вѣетъ на меня съ вопросомъ и ужасомъ, словно плыветъ откуда-то. Я холодѣю. Я не понимаю, что это, откуда это, мнѣ жутко, мнѣ хочется кричать.. Блѣдный лобъ, блѣдныя щеки. Да это Онъ!.. Судорога схватываетъ мнѣ горло. Я весь дрожу и въ иступленіи хочу кричать, самъ не зная почему, трепеща отъ ужаса: не надо! Лучше конецъ... не надо, это обманъ! Лицо близко, сейчасъ увижу его изъ темноты, ясно, совсѣмъ ясно передъ собой...

— Нѣтъ, нѣтъ Его!—съ тоскою кричу я...

Громъ аплодисментовъ. Соната кончена. Измученный я озираюсь кругомъ. Въ глазахъ рябитъ, все сливается и плыветъ куда-то. Только совсѣмъ близко, около плеча, оживленное, дѣтское личико Вѣрочки.

Мы вышли и пошли гулять по берегу моря. Молчали. Вѣрочка нагибалась, подымала камни, бросала ихъ и они съ короткимъ, глухимъ звукомъ падали въ море.

Я не могъ притти въ себя. О н ъ тяжелымъ кошмаромъ еще стоялъ въ памяти, и страшное, ненавистное чувство продолжало щемить сердце. Это чувство было нелѣпо, непонятно и неожиданно для меня. Словно какая-то бездна тайнъ разверзлась предо мной, и я зналъ, что заглянувъ, узнаю в с е, и не могъ, боялся, трусилъ, какъ щенокъ, хотя уже предчувствовалъ, ч т о тамъ жило и шевелилось.

Не помню, долго ли мы гуляли. Какъ сонъ, теперь

передо мной, эта далекая крымская ночь, съ которой начались мои первыя откровенія о самомъ себѣ. Какъ сонъ, было и тогда, когда я шелъ съ этими двумя, такими новыми для меня людьми, въ черную даль, по берегу моря, которое набѣгало и пѣнилось у нашихъ ногъ. Мнѣ чудилось, что я умеръ и новый міръ, вѣчный міръ, открывается предо мной и меня ведутъ туда люди не міра сего.

— А я сомнѣвался, будетъ ли вѣчная жизнь? не надо теперь бояться смерти, не надо каждый мигъ думать о ней, ужъ эта жизнь не кончится никогда... И хотя я сознавалъ, что думаю какую-то несообразность, что предо мною Черное море, что я на южномъ берегу Крыма, со своими новыми знакомыми, но отъ этихъ несообразныхъ мыслей непривычная живая радость едва внятно начинала трепетать во мнѣ.

III.

Идиллія.

Скоро мои новые знакомые уѣхали въ деревню. Я обѣщалъ пріѣхать къ нимъ; и въ концѣ іюля, послѣ безпокойной крымской жизни, полной самыхъ сложныхъ вопросовъ и сомнѣній, словно чудомъ, попалъ въ маленькій, старенькій домикъ, обвитый темно-зеленымъ густымъ виноградомъ, со старинными полутемными комнатами, съ тѣнистымъ задумчивымъ паркомъ, въ атмосферу тихую, радостную, гдѣ, казалось, никогда не было никакихъ тревогъ, никто не собирался умирать, и старенькій домикъ, и старенькая старушка тетя, и почти ребенокъ Вѣрочка даже и не думали о смерти.

Я прожилъ тамъ мѣсяцъ. Это время занимаетъ совершенно особое мѣсто въ моей жизни. И я долго колебался говорить или нѣтъ объ немъ въ этихъ «Запискахъ». Весьма возможно, что ничего важнаго, что помогло бы вникнуть въ дальнѣйшую мою жизнь, тамъ и не произошло. Но ужъ очень мнѣ трудно теперь ничего не сказать объ этихъ хорошихъ и ужъ, конечно, безвозвратно ушедшихъ дняхъ,—теперь, когда все для меня въ жизни кончено и впереди ничего, кромѣ подневольнаго, полуживого прозябанія...

Этотъ мѣсяцъ клиномъ врѣзается во всю мою жизнь. Все тамъ было для меня необычно, и самъ я въ этотъ мѣсяцъ какъ-то не совсѣмъ походилъ на самого себя. Вѣдь я тогда и не подозрѣвалъ еще всѣхъ предстоящихъ мнѣ мученій. Наоборотъ, во мнѣ, я очень хорошо это помню, начинала тогда пробуждаться смутная надежда на то, что, наконецъ, съ

меня спадетъ этотъ нестерпимый гнетъ страха смерти, я воскресну внутренно и почувствую наконецъ, что значитъ ж и т ь.

И даже теперь, когда я, кажется, пересталъ вообще чувствовать что-нибудь, я все же не могу безъ сердечной боли вспомнить свою жизнь въ полутемномъ виноградномъ домикѣ, а потому не могу хотя бы нѣсколько словъ не сказать о ней,—тѣмъ болѣе, что,— кто знаетъ, можетъ быть все-таки тамъ, впервые, заговорили во мнѣ,—конечно безсознательно, тѣ чувства, которыя потомъ дали толчекъ и направленіе моему «роману».

Въ Крыму я, можно сказать, не замѣчалъ Вѣрочки, Николай Эдуардовичъ поглощалъ все мое вниманіе, но здѣсь его не было, (онъ уѣхалъ заграницу учиться), и на фонѣ затихшей, старосвѣтской жизни, Вѣрочку нельзя было не замѣтить. Она въ высочайшей степени обладала основнымъ свойствомъ жизни,— и з м ѣ н я е м о с т ь ю.

И перемѣны ея были такъ рѣзки, такъ внезапны и всегда такъ новы, что въ ея присутствіи я съ первыхъ же дней потерялъ способность думать о смерти. Глядя на людей, я уже привыкъ наблюдать ихъ покойниками, я привыкъ копаться въ этомъ чувствѣ, какъ жукъ могильщикъ. Но съ Вѣрочкой я справиться не могъ. Мысль объ ея смерти не могла сгладить впечатлѣніе отъ ея полудѣтскихъ розовыхъ губъ, блестящихъ, ласковыхъ и насмѣшливыхъ глазъ, черныхъ мягкихъ кудрей, которыми она очень походила на брата. Меня необыкновенно безпокоило это чувство,—но было въ немъ еще что-то и другое. Мнѣ казалось, что я самъ, какъ будто начинаю оживать отъ соприкосновенія съ ней. Теперь я знаю, что это только казалось, что это было какое-то дьявольское наваожденіе, теперь я очень хорошо знаю, что даже самыя оживленныя лица кончатъ все тѣмъ же. Но тогда я всѣ силы напрягалъ, чтобы поддаться этому новому чувству.

Еще бы, мнѣ и тогда такъ хотѣлось отдохнуть, хотѣлось «новой жизни»!

Въ виноградномъ домикѣ все, начиная отъ Вѣрочкиной тети, Александры Егоровны, кончая любой мелочью, заключало въ себѣ какое-то необъяснимое внутреннее сходство. Все было старенькое, тихенькое, привычное, но все, можно сказать, насквозь пропитано жизнью.

Александра Егоровна была совсѣмъ такой же старушкой, какою, мнѣ представлялось, будетъ Вѣрочка, —но и эта сухенькая старушка посматривала такими блестящими глазами, такъ звонко смѣялась, какъ будто въ ея дряхломъ тѣльцѣ была спрятана такая же тоненькая дѣвочка Вѣрочка. Каждый предметъ словно впиталъ въ себя многолѣтнюю, тихую, но радостную жизнь своей владѣлицы,—каждый изъ нихъ состарился, но жилъ безъ малѣйшей тревоги, и, казалось, будетъ жить вѣчно. Пускай мы становимся старомодными, намъ-то, молъ, что за дѣло!

Единственный знакомый Александры Егоровны, былъ давнишній ея другъ, чрезвычайно маленькій старичокъ Трофимъ Трофимовичъ Вѣточкинъ.

И въ немъ было все то же необъяснимое сходство и съ Александрой Егоровной, и съ Вѣрочкой, и со всѣмъ виноградным домикомъ.

Не смотря на свои шестьдесятъ лѣтъ, морщинистое почернѣвшее личико, совершенно голую голову, кое-гдѣ лишь покрытую сѣдымъ пухомъ, онъ подобно Вѣрочкѣ, можно сказать, трепеталъ отъ жизни.

Бѣгалъ съ ней въ перегонки и не очень то уступалъ ей въ этомъ, игралъ на гитарѣ и пѣлъ чувствительные романсы...

Вѣрочку онъ любилъ, какъ дочь. Полюбилъ онъ и меня какъ-то сразу. Все это было у него просто, безъ всякихъ мученій. Да вообще въ этомъ домикѣ жили просто, не было ни борьбы, ни страха, ничего болѣзненно-сложнаго.

Я поддавался этой простотѣ, и отдѣльными моментами чувствовалъ себя такъ, какъ будто бы въ жизни все было очень просто и мило. Но, должно быть, я слишкомъ привыкъ за всякой обыденщиной видѣть истинную страшную сторону внутренней человѣческой

жизни, а потому вполнѣ не могъ отдѣлаться отъ своихъ прежнихъ, наболѣвшихъ, но на время замолкшихъ думъ. И тогда привычная, жуткая грусть разливалась въ груди, и во мнѣ пробуждалось желаніе разрушить незаконный, безмятежный покой, заставить всѣхъ бояться смерти, задуматься, страдать. Въ эти минуты я съ досадой и почти завистью смотрѣлъ на Вѣрочку.

Помню, какъ однажды мы поѣхали съ ней кататься. Прежде я рѣдко любовался природой. Она слишкомъ пугала меня, я старался не замѣчать ее. Должно быть вмѣстѣ съ жизнью пробуждается и любовь къ природѣ. Съ новымъ, почти дѣтскимъ чувствомъ смотрѣлъ я на зеленоватое вечернее небо, на серебристое поле овса, на синѣющій горизонтъ.

— Посмотрите, какъ низко ласточки летятъ,— сказала Вѣрочка! какъ это они за землю не задѣнутъ?

Я не люблю вопросовъ, даже самыхъ пустяшныхъ.

Каждый вопросъ по ассоціаціи связывается у меня съ десяткомъ другихъ и спускается до вопроса о смыслѣ жизни, въ который хочешь не хочешь въ концѣ концовъ упираешься, какъ въ глухую стѣну.

Я мелькомъ взглянулъ на быстро скользившихъ ласточекъ, и вдругъ, безо всякой видимой причины, и поля, и небо, и убѣгающая полоска дороги,—показались такими лишними, ненужными, какъ не нужна и вся наша жизнь.

Глупо раздражаясь я сказалъ:

— А чего, спрашивается, летятъ онѣ?

— Навѣрно у нихъ дѣтки есть.

— А дѣтки зачѣмъ?—раздражался я еще болѣе.

Вѣрочка покосилась на меня и сказала:

— Какъ зачѣмъ? Затѣмъ, чтобы выросли, летать. Развѣ безъ ласточекъ лучше было бы.

— Совершенно безразлично. Радоваться всякой твари имѣемъ право только мы, вѣрующіе,—а вы вѣдь въ Бога не вѣруете, значитъ для васъ нѣтъ отвѣта на вопросъ: зачѣмъ они живутъ.

— Ахъ ты Господи—нетерпѣливо проговорила Вѣрочка: для чего живутъ. Для того же, для чего и всѣ.

— То есть для того, чтобы умереть,—отрывисто сказалъ я.

— Совсѣмъ нѣтъ, умираютъ потому, что это необходимо, а живутъ для того, чтобы быть счастливыми.

— Да, но какое вы имѣете право быть счастливой, когда все уничтожится и вы не можете имѣть ни къ чему никакихъ привязанностей. Невѣрующіе люди живутъ въ номерахъ,—со смертью для нихъ конецъ всему: уѣхали изъ номеровъ и никогда не вернутся. Но развѣ можно любить то, что дано на два дня?

— Вотъ и неправда,—воскликнула Вѣрочка: если жить въ номерахъ одинъ день, тогда, конечно, ни къ чему привыкнуть нельзя, а если всю жизнь, такъ отлично можно, все равно, какъ на своей квартирѣ. Вотъ вы здѣсь мѣсяцъ живете, и то уже къ намъ привыкли.

— Я другое дѣло. Я человѣкъ вѣрующій. Но вы не имѣете права ко мнѣ привыкнуть.

— Но почему же?

— Потому что по вашему вы сгніете, я сгнію,— и всему конецъ.

— А можетъ быть я не сгнію,—сказала она, и я не видѣлъ, но чувствовалъ, что у нея смѣются глаза.

— Я пожалъ плечами.

— И вы тоже сгніете?—спросила она.

— Сгнію...

— И скоро?

— Скоро,—рѣзко сказалъ я и отвернулся.

Она замолчала, задумалась, и всю дорогу мы проѣхали молча.

Я ничего не могъ подѣлать съ Вѣрочкой. Она говорила очень смѣшно, совершенно по дѣтски,—и все-таки ея выходки дѣйствовали на меня лучше всякихъ глубокомысленныхъ аргументацій. Въ ней все было жизненно. радостно, безбоязненно,—и подъ вліяніемъ этого, тоска переходила въ грусть, страхъ— въ неясную тревогу, и безсмысленная надежда на какое то «воскресеніе» шевелилась за всѣми, казалось, навсегда выстраданными и рѣшенными мыслями.

Я тогда не понималъ, что всѣ люди такіе же, какъ я, но не всѣ называютъ вещи своими именами.

За эти два мѣсяца одна сторона моей личности, въ благопріятныхъ условіяхъ, развилась до чудовищныхъ размѣровъ,—это сантиментальность. Я вѣдь очень сантименталенъ. Но, какъ я уже говорилъ, моя сантиментальность обыкновенно выражалась въ жалости, и то въ рѣдкихъ случаяхъ. Теперь вся размягченная, успокоенная душа моя предалась мечтательности. Прежде я плакалъ отъ злобы и отчаянія,—теперь сталъ плакать отъ смутныхъ, почти безотчетныхъ грустныхъ, но сладкихъ чувствъ.

Я даже завелъ себѣ особое мѣсто, куда уходилъ спеціально для своихъ мечтаній. Это былъ маленькій балкончикъ въ мезонинѣ.

Васъ, можетъ быть, удивятъ мои мечты. Можетъ быть, вы подумаете, такъ не можетъ мечтать грубый, развратный, жестокій и безнравственный человѣкъ. Но, Бога ради, не судите такъ поспѣшно.

Всякій человѣкъ способенъ на все! Можетъ на костеръ пойдетъ, а можетъ ограбитъ.

Я не знаю, хороша или нѣтъ слащавая сантиментальность.

Не знаю и не чувствую, что лучше: насиловать женщинъ, или плакать и цѣловать засохшіе цвѣты.

— Но исповѣдь должна быть полной. И если вы знаете, что я въ своемъ воображеніи могу быть звѣремъ, то знайте, что я могу быть и вздыхателемъ!

Передъ маленькимъ балкончикомъ, внизу, зеленѣла недавно посаженная липовая аллея. Ее посадила Вѣрочка. Часто я приходилъ туда. Деревья въ моемъ воображеніи выростали, аллея становилась тѣнистой, почти темной. Садъ превращался въ столѣтній запущенный паркъ, клумбы почти теряли свою форму, они заростали дикой мальвой и полынью, обвитой плющемъ.

Домъ почти разрушенъ, крыша провалилась. Ставни отлетѣли. Я, старенькій, старенькій старичокъ, Богъ вѣсть какими судьбами, занесенный въ эти края, сижу на скамейкѣ, смотрю на балконъ, и теплыя слезы о невозвратномъ прошломъ безсильно текутъ

по моимъ щекамъ. И чудится мнѣ, что вотъ-вотъ появится милое веселое личико; раздастся дѣтскій веселый смѣхъ, мелькнетъ розовенькое нѣжное платье и она, Вѣрочка, бросится ко мнѣ, поцѣлуетъ, оглядываясь, какъ бы кто не увидалъ, и, увлекая меня въ темный садъ, скажетъ:

— Ну, монахъ... пойдемте..... тамъ никто не увидитъ.

А съ балкона незамѣтно сойдетъ маленькій Трофимъ Трофимовичъ со своею всегдашней улыбкой, поцѣлуетъ меня въ щеку, погрозитъ пальцемъ Вѣрочкѣ.

— Ты у меня стрекоза,—скажетъ онъ....А мы смѣясь убѣжимъ отъ него въ прохладу парка.

Но все это мечты. Онѣ не придутъ. Передо мной полусгнившій балконъ, оборванный виноградъ стелится по землѣ.... Вѣрочки давно уже нѣтъ здѣсь,—она умерла. И не прежняя Вѣрочка, а сморщенная старушка тлѣетъ теперь въ землѣ. Трофимъ Трофимовичъ тоже умеръ, и самъ я чувствую, что скоро и мой конецъ.

И снова, еще обильнѣе текутъ по моимъ щекамъ слезы. Робко, тоже загрустившись, шелеститъ надо мной разросшаяся липа. Прилетѣлъ шмель, стукнулся о мое плечо и закружился надъ стволомъ липы. Нѣсколько уцѣлѣвшихъ розъ тихо покачиваются изъ стороны въ сторону. Какая то сѣренькая птичка сѣла на дорогу, но, увидавъ меня, снова вспорхнула. И снова, день за днемъ, встаетъ передо мною прошлое, и снова я плачу отъ жгучей жалости къ самому себѣ...

Такъ я мечтаю и прихожу въ себя только потому, что дѣйствительно чувствую, какъ по щекамъ моимъ текутъ слезы.

Сантиментально все это, не правда ли? Но если бы вы знали, сколько горечи выливается изъ души, какъ выматывается одинъ нервъ за другимъ, когда черта за чертой, со всѣми подробностями, и чѣмъ ничтожнѣе подробность, тѣмъ ужаснѣе,—начнешь этакъ рисовать себѣ жизнь свою черезъ много, много лѣтъ, и посмотришь на себя съ точки зрѣнія «воспоминаній».

Не знаю, очевидно такая сантиментальность для меня почему-то опасна, ибо я инстиктивно послѣ такихъ слащавыхъ грезъ всегда начинаю фантазировать въ діаметрально противоположномъ направленіи, и въ этомъ переходѣ отъ туманной грусти къ жестокости и насилію, для меня есть нѣчто большее, чѣмъ наслажденіе.

Признаюсь во всемъ этомъ безъ раскаянія, но съ болью... потому что все это были признаки моего внутренняго разложенія. Но все-таки чѣмъ дольше жилъ я, тѣмъ все это происходило рѣже, а въ присутствіи Вѣрочки никогда. Да и вообще знакомая женщина, для меня почти перестаетъ быть женщиной. А Вѣрочка, какъ-то сразу стала не только знакомой, но почти родной. Поскольку, конечно, я способенъ на такое чувство.

Къ сожалѣнію, вамъ теперь непонятно,—и я, не могу забѣгать впередъ и разъяснять вамъ,—только право же, во мнѣ буквально сердце разрывается отъ нестерпимой боли, при воспоминаніи, какъ она, моя бѣдная, моя маленькая дѣвочка, должно быть инстинктомъ чувствуя, съ кѣмъ имѣетъ дѣло, напрягала всѣ усилія, чтобы спасти меня. Да можетъ быть тутъ былъ и не одинъ инстинктъ. Недаромъ однажды она, глубоко задумавшись, сказала:

— Вотъ Коля тоже религіозный, а совсѣмъ другой... Онъ не похожъ на васъ.

— Въ чемъ межъ нами разница,—не безъ робости спросилъ я.

Ей видимо трудно было выразиться.

— Вы бываете иногда... какой-то страшный, запинаясь отвѣтила она, и испугавшись, не обидѣла ли меня, прибавила: это очень, очень рѣдко бываетъ. И мнѣ даже это нравится. Мнѣ также бываетъ страшно, когда я слушаю сказки.

Какъ гипнозъ подѣйствовала на меня, тихая простая жизнь, старенькій домъ и задумчивый паркъ. Не въ такомъ ли же гипнозѣ отъ окружающихъ мелочей живутъ всѣ тѣ, кто погружается во всевозможные житейскіе интересы, и, не взирая на смерть, могутъ

жить «со вкусомъ». Кто знаетъ, можетъ быть, и я, поживи подольше въ виноградномъ домикѣ, забылъ бы о могильной ямѣ, и съ горячностью принялся бы за какую-нибудь, неизвѣстно для чего нужную работу. Но весь ужасъ жизни въ одномъ элементарномъ правилѣ: всему бываетъ конецъ. Наступилъ конецъ и моей жизни въ деревнѣ. Надо было ѣхать.

Александра Егоровна, Вѣрочка и Трофимъ Трофимовичъ плакали навзрыдъ, прощаясь со мной... И мнѣ было мучительно тяжело. Всякій отъѣздъ дѣйствуетъ на меня такъ, потому что всякій отъѣздъ, не знаю почему, напоминаетъ мнѣ похороны...

Полонъ самыхъ тяжелыхъ думъ и неясныхъ предчувствій, уѣзжалъ я изъ маленькаго виноградnаго домика; день былъ хмурый, осенній.

Все измѣняется, всему конецъ!..

IV.

Общественный вопросъ.

Я никогда не интересовался общественными вопросами. До того ли мнѣ. Я не знаю и не хочу знать, кто правъ: революціонеры ли, консерваторы ли, либералы ли. Я знаю одно: есть невѣрующіе люди, и революціонеры, и консерваторы, которые не ради своихъ личныхъ выгодъ умираютъ за другихъ. Да и какъ можно умирать за другихъ изъ-за «личныхъ» выгодъ!

Пускай они ошибаются, пускай нельзя тѣми средствами, которыя они предлагаютъ, достигнуть всеобщаго счастья. Мнѣ это не важно. Мнѣ важно одно: они не боятся смерти. Они убѣждены, что съ концомъ тихней жизни для нихъ кончается все, и не смотря на это, чье то чужое счастье, которое они никогда не увидятъ, для нихъ такъ дорого, что они ради него отдаютъ свою жизнь.

Для меня закрыта эта психологія. Но я всегда смутно чувствовалъ въ ней что-то для себя роковое, и потому никогда не могъ отбросить ее окончательно, не думать о ней. Фактъ оставался на лицо. И то чаще, то рѣже, я вновь къ нему обращался и тысячи разъ спрашивалъ себя: что нужно чувствовать, чтобы не вѣря въ безсмертіе отдать свою жизнь, по своей волѣ, для чужого благополучія?

Не бояться смерти? Тайно отъ всѣхъ вѣрить въ свое безсмертіе? Такъ любить свой народъ, чтобы страданія его отравляли жизнь, и смерть становилась желанной? Нѣтъ, я чувствовалъ, что все это не то, и не разгаданный фактъ по прежнему шелъ въ раз-

Государственная ордена Ленина БИБЛИОТЕКА СССР им. В. И. ЛЕНИНА

рѣзъ съ моими обычными представленіями о людяхъ, по прежнему вызывалъ во мнѣ тревогу.

Вотъ этимъ только и ограничивалась, кажется, моя «общественность».

И чѣмъ больше вокругъ меня шумѣли и харахорились, тѣмъ тверже, какъ желѣзомъ налитый, стоялъ я на своемъ мѣстѣ. Да и куда бѣжать? Я слишкомъ хорошо зналъ, что сколько ни бѣги, у б ѣ ж а т ь некуда. Развѣ смерть не будетъ также пожирать всѣхъ рождающихся людей, когда въ Россіи наступитъ другой политическій строй? Все останется по прежнему. По прежнему всѣ эти краснорѣчивые «дѣятели», застывшіе будутъ лежать на столѣ, по прежнему будутъ бросаться въ мокрую яму, гдѣ они посинѣютъ, разбухнутъ и начнутъ разлагаться.

Я слишкомъ знаю смерть, слишкомъ чувствую ея неизбѣжность, я слишкомъ много страдалъ за нее, чтобы закружиться въ ребяческомъ вихрѣ „освободительнаго движенія". Какой ироніей звучатъ для меня эти слова. «Освободительное движеніе»! «Освободительное» отъ чего? Отъ цензуры? Отъ Кесаря? Отъ казаковъ и произвола? Но что значитъ это «освобожденіе», безъ освобожденія отъ смерти. А кто освободитъ отъ нея? Не постановленіе ли парламента!

Какъ можно увлекаться до головокруженія этимъ бутафорскимъ освобожденіемъ, когда за окномъ чуешь дыханіе смерти? Не похоже ли это на освобожденіе жалкой загнанной крысы, когда ее «освобождаютъ» изъ ловушки, чтобы бросить въ кипятокъ. И какъ бы смѣшна была крыса, если бы она вздумала радоваться, что ей пришлось издохнуть не въ ловушкѣ, а уже «освобожденной» отъ «проволочнаго режима»!

Мнѣ такъ же смѣшны и гадки эти невѣрующіе бородатые «дѣятели», кричащіе объ освобожденіи и не думающіе о смерти со всей ихней крысиной психологіей. Какъ они смѣютъ радоваться, какъ они смѣютъ не отравлять себѣ всѣхъ предстоящихъ освободительныхъ побѣдъ мыслью о своемъ уничтоженіи?

И я твердо рѣшилъ, что вся освободительная горячка есть ни что иное, какъ дурманъ, которымъ хотятъ одурманить себя люди, въ дикомъ испугѣ бѣгущіе отъ грознаго признака смерти.

Но опять, какъ же добровольная смерть? Если они бѣгутъ отъ смерти, то какъ они могутъ итти на добровольное уничтоженіе? А между тѣмъ факты такихъ самопожертвованій становились почти ежедневны. Покончить съ ними было необходимо. И во мнѣ подымались неотступные тревожные вопросы: полно, правъ ли я,—ужели только два выхода: в о в с е м ъ смерть,—или в о в с е м ъ безсмертіе...

Меня пугали эти вопросы, и я старался не думать о нихъ. Но еще болѣе пугали меня люди, которые,—я это зналъ,—не смотря на свой атеизмъ, готовы безъ малѣйшихъ колебаній, каждую минуту умереть за свои идеи. Я избѣгалъ ихъ. А когда все-таки, по необходимости сталкивался съ ними, то они приводили меня въ такое волненіе, что я почти не владѣлъ собой. Они вызывали во мнѣ и любопытство,—подобно Николаю Эдуардовичу, и ужасъ подобно, образу Распятаго, и злобу, и зависить, и уваженіе.

И я замыкался въ себѣ и сторонился ото всѣхъ. Окружающіе мнѣ прощали это. Они соглашались со мной, что истинный «христіанинъ» не долженъ заниматься «политикой». Но я чувствовалъ, что жизнь меня выбрасываетъ за бортъ, что я не могу найти своего мѣста, что всѣ мимо меня мчатся впередъ, что всѣ, кто меня зналъ и любилъ, далеко впереди меня горячо дѣлаютъ свою работу и невѣрующіе, и готовые на смерть...

И онъ пришелъ. Опять такъ же неожиданно, такъ же внезапно. Какъ призракъ стремительный, съ дивными волнами черныхъ волосъ, ночью онъ вошелъ въ мою комнату. Только еще болѣе блѣдный, и потому еще болѣе похожій на Распятаго.

Онъ пріѣхалъ въ Россію, не въ силахъ выносить заграницей всѣхъ ужасовъ здѣшней жизни, въ без-

дѣйствіи не принимая въ ней никакого участія. Онъ едва доѣхалъ до Москвы, какъ въ бреду, тоскуя въ вагонѣ три дня, и только пріѣхалъ, сейчасъ же бросился ко мнѣ...

— Надо спасать Церковь,—какъ въ бреду бормоталъ Николай Эдуардовичъ, сжимая мои руки: спасать міръ... идетъ.... я чувствую.... скоро... Боже мой, помоги. О, хоть бы одинъ святой, подобный Филиппу... Хоть бы кто-нибудь...

Я прошу одного, одного,—и нестерпимая горечь слышалась въ его голосѣ: что-бы епископы, апостолы поднялись хотя бы до той ступени силы духа, на которой теперь стоитъ любой, мало-мальски порядочный, атеистъ.

Я сидѣлъ на постели, наполовину раздѣтый и какъ въ полуснѣ видѣлъ его измученное лицо, слышалъ его истерическій голосъ...

— Церковь, Святая, Апостольская, какъ можетъ она итти рука объ руку съ тѣми.... съ тоской выкрикивалъ Николай Эдуардовичъ.

— Ужели Христосъ оставилъ Церковь свою, ужели времена близки, и Церковь по пророческому слову отдалась въ руки.... звѣря Антихриста.

А въ моемъ мозгу какъ молотомъ стучала одна мысль: Съ нимъ Христосъ! Съ нимъ Христосъ!

И я почувствовалъ жажду говорить много, громко, съ увлеченіемъ, волнуясь и такъ-же почти плача отъ горя и гнѣва, какъ Николай Эдуардовичъ.

— Ужели они не понимаютъ,—заговорилъ я, почти задыхаясь, подражая ему по внѣшности, но еще болѣе холодѣя внутри, что народъ, начавшій свою революцію съ хоругвями и пѣніемъ «Отче нашъ», если Церковь не остановитъ своимъ авторитетомъ, способенъ дойти до такого звѣрства, котораго не видало еще человѣчество, и отъ котораго содрогнется міръ.

Слова эти, видимо, страшно поразили его. Онъ затрепѣталъ весь, точно подстрѣленная птица, подался ко мнѣ и посмотрѣлъ на меня такимъ взглядомъ, котораго я не могъ вынести. Какъ онъ походилъ тогда на Христа-младенца на старинныхъ иконахъ. Передъ нимъ, какъ и передъ Христомъ, видимо раскрылась тогда картина будущихъ страданій, слезъ, крови, насилій и жертвъ.

О, какая безумная зависть тогда вспыхнула во мнѣ! Хотя бы на мигъ почувствовать такую же любовь къ людямъ, хотя бы на мигъ чужія страданія заставили отъ ужаса сжаться сердце. Но я представилъ себѣ картину всѣхъ грядущихъ звѣрствъ—и на сердцѣ не было ничего, кромѣ проклятой, томительной пустоты.

— А все равно,—съ бѣшенствомъ, заглушая въ себѣ приступы страха и зависти, рѣшилъ я: пусть всѣ дохнутъ, наплевать мнѣ... Пусть рѣжутъ другъ друга и сосутъ кровь жертвъ своихъ неистовствъ. Что мнѣ за дѣло до ихъ мученій! Кто велѣлъ любить и страдать за другихъ? Я не хочу и не буду, и нѣтъ надо мной господина,—все сгніетъ, все пойдетъ прахомъ.... И кровь, и слезы, и земля, и солнце,—все застынетъ. Ничего нѣтъ: все прахъ! Дѣлаю, что хочу... думаю, что хочу...

И была какая—то особенная сладость въ томъ, что никто не знаетъ моихъ тайныхъ думъ.

Но правъ ли я былъ? Дѣйствительно ли онъ ничего не чувствовалъ, или, можетъ быть, что-то смутное, безсознательное проникало уже тогда въ его душу...

— Иногда я чувствую приближеніе Антихриста,— тихо сказалъ онъ: это самыя мучительныя минуты моей жизни.... вотъ и теперь то же....

Тогда мнѣ кажется, скоро всему конецъ.

При послѣднихъ словахъ онъ остановился предо мной и въ упоръ посмотрѣлъ на меня глубокими, потемнѣвшими глазами. Я не выдержалъ этого взгляда. Я опустилъ глаза и неожиданно для самаго себя сказалъ:

— Да, Антихристъ придетъ очень скоро.

Кажется, ничего никогда не говорилъ я съ такою твердостью. Я ясно почувствовалъ, что это была не моя искренность, а настоящая, такая же, какъ искренность Николая Эдуардовича.

— Что это значитъ?—безсильно мелькнулъ во-

просъ, но въ отвѣтъ не было никакой мысли, только вдругъ стало жутко смотрѣть въ черныя окна, за которыми сѣрѣли снѣжные силуэты.

— Можетъ быть—по прежнему тихо сказалъ Николай Эдуардовичъ: можетъ быть скоро... иногда приближеніе его чувствуется. Вамъ знакомо это?..

Я почему-то густо покраснѣлъ, словно онъ меня уличилъ въ чемъ-то.

— Да, иногда,—отвѣтилъ я:

Я сказалъ правду, но никогда самая наглая ложь не заставила бы меня такъ смутиться, какъ смутился я отъ своего отвѣта.

Мы молчали. Уже свѣтало, и блѣдный свѣтъ лампы безжизненно расплывался въ утреннихъ сумеркахъ. Мы оба были, какъ больные; нервы ослабли; томительно ползла минута за минутой.

Вдругъ Николай Эдуардовичъ поднялъ голову и спросилъ. Я никогда не забуду его голоса.

— Знаете ли вы жажду мученичества?

Я молчалъ и, не сводя глазъ, смотрѣлъ на него, мнѣ жутко было смотрѣть на него, а губы мои судорога кривила въ улыбку.

Но онъ, видимо, не замѣчалъ меня и говорилъ самъ съ собой.

— Мученичества.. чтобы за Христа, за вѣчную правду взяли бы тебя, привязали къ позорному столбу, грубо безбожно,—и били бы кнутомъ, истерзали бы всю кожу, чтобы мясо кусками летѣло и кровь ручьемъ лилась... И издѣвались бы, и хохотали бы. Чтобы все, какъ на Голгофѣ... Христу бы съ трепетомъ благоговѣйнѣйшимъ отдать все это. На себя бы Его вѣчныя муки, на себя бы принять, хоть самую маленькую частицу.... О, я такъ часто жажду этихъ страданій....исъ внезапнымъ порывомъ онъ сказалъ:

— Дорогой мой... другъ мой... пойдемте ко всѣмъ епископамъ, будемъ умолять ихъ, на колѣняхъ именемъ Христа будемъ требовать отъ нихъ написать окружное посланіе, обличить... Христосъ будетъ съ нами... Они послушаютъ насъ.... Спасемъ Церковь и народъ нашъ, который терзаютъ...

И онъ сѣлъ рядомъ со мной, и заглядывалъ мнѣ въ лицо.

— Ну, чтожъ, это хорошо,—съ трудомъ выговаривалъ я: напишемъ обращеніе къ епископамъ....

Только пишите вы, я не могу...

Я чувствовалъ что въ глазахъ у меня темнѣетъ, въ головѣ растетъ что то громадное. Вотъ вотъ я охвачу міръ...

— Не съ ума ли я схожу? Слабость овладѣвала всѣмъ моимъ тѣломъ. Я почти лишился сознанья.

V.

У Евлампія.

Епископъ Евлампій очень любилъ принимать у себя молодежь. Не проходило ни одного вечера, чтобы у него не собиралась цѣлая компанія.

Не знаю,—можетъ быть въ силу моей обычной мнительности, но я не вѣрилъ въ искренность его любви ко всѣмъ этимъ, часто необыкновенно безтолковымъ, посѣтителямъ. Не вѣрилъ также и въ его простоту, доходящую до совершенно товарищеской фамильярности, съ которой онъ обращался ко всѣмъ безъ исключенія. Мнѣ всегда казалось, что онъ ищетъ популярности, что онъ играетъ комедію и упивается ролью отца—архипастыря. Онъ имѣлъ необыкновенно эффектную внѣшность. Страшно высокій, стройный, съ открытымъ русскимъ, совсѣмъ еще молодымъ лицомъ, всегда въ бѣлой шелковой рясѣ, онъ однимъ своимъ видомъ могъ внушить почтительное благоговѣніе. Голосъ у него былъ громкій и ласковый. При встрѣчѣ онъ горячо обнималъ гостей; и вообще во время разговора любилъ брать за руки, привлекать себѣ на грудь и цѣловать въ лобъ.

Но на меня и наружность его, и всѣ его манеры производили отталкивающее впечатлѣніе. Я не вѣрилъ ему ни на іоту. Ласки его были холодны и театральны. И мнѣ было не по себѣ, когда онъ обхватывалъ мои плечи своими огромными красивыми руками.

Въ блестящихъ, почти масляныхъ глазахъ его, которые никогда не смотрѣли въ упоръ, я читалъ болѣшую любовь къ ѣдѣ, къ вину, къ женщинамъ и ту циничную плутоватость, которая часто бываетъ у избалованныхъ слугъ.

Евлампій очень не любилъ разговоровъ, которые по своимъ практическимъ выводамъ могли къ чему либо обязывать.

Онъ тогда спѣшилъ перемѣнить тему и дѣлалъ это чрезвычайно искусно, съ обворожительной простотой и задушевностью, начиная разсказывать какой-нибудь случай изъ своей жизни, который всегда кончался одинаковой моралью: не нужно очень зарываться высоко—это гордость, а со смиреніемъ дѣлать маленькую работу—и все будетъ добро.

Но, по неестественной улыбкѣ, по мелкимъ, какимъ-то брезгливымъ складочкамъ около губъ, я прекрасно видѣлъ, что онъ всѣхъ обманываетъ, что ему никакія дѣла,—ни большія, ни малыя—не интересны, да и всѣ мы вообще надоѣли, и что онъ съ гораздо большимъ удовольствіемъ поговорилъ бы теперь на двусмысленныя темы въ какой-нибудь «теплой» компаніи

Мнѣ всегда казалось, что онъ чувствуетъ, что я его понимаю, и поэтому обращается ко мнѣ съ особеннымъ игривымъ лукавствомъ.

Я инстинктомъ чувствовалъ, что отъ такого соединенія, какъ Евлампій, я и Николай Эдуардовичъ по такому страшному вопросу, должно произойти что-нибудь необычайное.

И я не ошибся.

Евлампій встрѣтилъ насъ по обыкновенію въ своей пріемной, узкой длинной комнатѣ, со сводами, расписанными картинами на библейскіе сюжеты. Она освѣщалась темно-синимъ матовымъ фонаремъ; въ ней было душно, жарко и пахло розовымъ масломъ.

Евлампій въ своей бѣлой, мягко шуршащей шелковой рясѣ быстро подошелъ къ намъ, благословилъ, обнялъ, поцѣловалъ, выразилъ радостное изумленіе по поводу нашего прихода; усадилъ за столъ, за которымъ сейчасъ же появились канделябры, сушеные фрукты, конфекты, виноградъ, и посматривая то на меня, то на Николая Эдуардовича, уже началъ было свою обычную ласковую фамильярную рѣчь.

— Владыка, мы къ вамъ по очень важному дѣлу, тихо, но твердо сказалъ Николай Эдуардовичъ.

— Очень, очень радъ, — поспѣшно проговорилъ Евлампій, нервно задергавъ бахромку у бархатной скатерти.

— По поводу текущихъ событій, — продолжалъ Николай Эдуардовичъ: мы написали «Воззваніе къ епископамъ», въ которомъ призываемъ написать обличительное окружное посланіе. Мы бы хотѣли прочесть вамъ его.

— Очень, очень радъ, — снова повторилъ онъ и, опустивъ глаза, приготовился слушать.

Онъ немного поблѣднѣлъ; лицо у него стало жесткимъ и непріятнымъ, на губахъ застыла неловкая, дѣланная улыбка.

Николай Эдуардовичъ началъ читать торопливо, съ трудомъ сдерживая свое внутреннее волненіе. Я уже прочелъ это «Воззваніе», но теперь въ пріемной епископа, съ темнымъ сводчатымъ потолкомъ, за столомъ съ сушеными фруктами, въ жаркой комнатѣ, пропитанной запахомъ розоваго масла,—мнѣ показалось, что я тоже въ первый разъ слышу этотъ вопль Сына Божія къ Отцу, оставившему Церковь Свою.

И я не могъ отдѣлаться отъ мысли, что Николай Эдуардовичъ судья, а мы съ Евлампіемъ преступники, и что онъ читаетъ намъ обвинительный актъ.

— Что за вздоръ,—говорилъ я себѣ: это воззваніе къ епископамъ, это мы требуемъ отъ нихъ и судимъ ихъ. Но голосъ его становился громче и грознѣе, и я все больше отодвигался отъ него и становился такъ странно близокъ къ Евлампію. Мнѣ чудилось, что комната начинаетъ двигаться, вытягиваться и столъ со свѣчей плывутъ въ темную глубь комнаты, а мы съ Евлампіемъ жмемся другъ къ другу и становимся все дальше и дальше отъ Николая Эдуардовича.

— «Ужели теперь, — читалъ онъ, — въ минуту почти открытаго дьявольскаго искушенія, ни въ комъ изъ русскихъ епископовъ не найдется дерзновенія древнихъ святителей, и вновь надъ страдающей землей пронесется отзвукъ поцѣлуя Іуды Предателя, а

вавилонская блудница вновь возсядетъ на престолѣ, до срока творить мерзости, переполняя чашу гнѣва Господня».

— Неужели? — какъ эхо отдавалось въ моемъ мозгу. Но въ этомъ вопросѣ не было для меня ни страданія, ни ужаса, которые звучали въ голосѣ Николая Эдуардовича, а лишь знакомое мучительное холодное любопытство. «Неужели, молъ, Церковь погибла, неужели остались въ ней одни предатели»...

А онъ читалъ:

«Духовенство предъ Богомъ обязано принять опредѣленное рѣшительное участіе въ начавшемся движеніи, и стараться направить его туда, куда велитъ имъ ихъ пастырскій долгъ.

Надъ всей Россіей нависла грозовая туча, слышатся приближающіеся раскаты грома и наступаетъ мучительное молчаніе. И вотъ, въ это время пусть раздастся безбоязненный голосъ истинныхъ служителей Христа. Пусть появится окружное посланіе епископовъ изъ святынь, чтимыхъ народомъ.

Пусть раскатятся по всей землѣ святые призывы и все доброе въ народѣ, почуя Христа, шевельнется, стряхнетъ съ себя путы Звѣря, освободится отъ давящей петли, и тогда народъ, уже церковный народъ, начнетъ новое великое дѣланіе на спасеніе всего міра, которое будетъ указано Духомъ Святымъ»...

Чѣмъ дальше читалъ Николай Эдуардовичъ, чѣмъ яснѣе становилось, сколько глубокаго, религіознаго чувства было вложено имъ въ это «Воззваніе», тѣмъ враждебнѣе и нетерпѣливѣе становилось у меня къ нему отношеніе. Я не дѣлалъ попытокъ прогнать эти чувства. Можетъ быть извращенное, можетъ быть патологическое, ужъ это, какъ хотите тамъ называйте, — но что-то жуткое и завлекательное было въ этомъ ощущеніи ненависти къ необыкновенному сходству Николая Эдуардовича съ Христомъ. Меня одурманивало то, что я чувствовалъ въ себѣ власть съ насмѣшкой, доходящей до презрѣнія, смотрѣть на блѣдное лицо его, слушать его

мольбы и обличенія, словно этимъ ни во что ставился и тотъ загадочный Назорей, Который двѣ тысячи лѣтъ назадъ будто бы воскресъ изъ мертвыхъ.

— Что тебѣ до меня, Іисусъ, сынъ Бога Всевышняго! хотѣлось выкрикнуть мнѣ слова евангельскаго бѣсноватаго.

— Можетъ быть и во мнѣ бѣсъ сидитъ,—усмѣхнулся я, чувствуя, что мнѣ хотѣлось бы, чтобы Николай Эдуардовичъ видѣлъ эту усмѣшку и понялъ бы, какъ я ненавижу его, этого Христосика съ прозрачнымъ лицомъ и глазами, полными слезъ.

Съ какимъ бы испугомъ посмотрѣлъ онъ на меня, какъ бы задрожали его губы, какой бы весь онъ былъ пришибленный и жалкій...

— Ненавижу, ненавижу... Мнѣ хотѣлось тысячи разъ въ упоеніи повторять это слово: ненавижу за то, что онъ смѣетъ знать какого-то Христа, не бояться смерти и можетъ такъ любить людей, и такъ страдать за судьбу Церкви...

О, какъ я понималъ въ эти минуты воиновъ, бичевавшихъ Христа, плевавшихъ на Него, ударявшихъ Его по лицу, съ вопросомъ: «Прореки намъ, Христосъ, кто ударилъ Тебя». Какое высочайшее наслажденіе, утонченнѣйшее, невыразимое, ударить самаго Христа, называющагося «Сыномъ Божіимъ». Развѣ въ этомъ нѣтъ вызова тѣмъ, кто осмѣливается кричать, что не все позволено? Все позволено! Онъ лжетъ, что мы воскреснемъ; мы всѣ сгніемъ, насъ всѣхъ въ страшныхъ ямахъ съѣдятъ черви, а коли такъ, то все позволено: и искровянить это нѣжное лицо и выколоть эти тихія очи!

И во мнѣ все подымалось и трепетало. Что-то темное и тяжелое подступало къ горлу. Я готовъ былъ изуродовать, издѣваясь и глумясь, это чудное лицо, отъ котораго, казалось, вотъ-вотъ разольется таинственный свѣтъ и растаетъ въ жаркой комнатѣ, пропитанной сладкимъ запахомъ розоваго масла...

Воззваніе заканчивалось почти молитвой:

— «О Господи Христе,—читалъ Николай Эдуардовичъ,—отыми робость изъ сердца служителей Твоихъ, и дай намъ

смѣлость и дерзновеніе возлюбить Тебя дѣломъ и исповѣдать Святое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

Онъ кончилъ. На одинъ моментъ наступило тягостное молчаніе.

— Пламенныя словеса, Іеремія!—проговорилъ наконецъ Евлампій, и въ голосѣ его было что-то трусливое, насмѣшливое и злобное.

— Я былъ бы очень радъ,—прибавилъ онъ: увидѣть это гдѣ-нибудь напечатаннымъ... только врядъ-ли удастся это... цензура у насъ...

И, перебѣгая взглядомъ то на меня, то на Николая Эдуардовича, сталъ разсказывать о своихъ столкновеніяхъ съ цензурой. Въ это время пришелъ какой-то студентъ духовной академіи, съ лицомъ краснымъ, угрястымъ и тупымъ (между прочимъ, угри ужасно противны на мертвыхъ лицахъ). Евлампій страшно ему обрадовался,—на этотъ разъ, думаю, искренно,—сталъ цѣловать его и потчивать финиками. Разговоръ объ окружномъ посланіи готовъ былъ этимъ закончиться. Николай Эдуардовичъ сидѣлъ совершенно растерянный.

Меня взорвало такое отношеніе Евлампія.

Я—другое дѣло. Я ничтожество, заѣденный смертью, полуживой человѣкъ. Я выстрадалъ себѣ право такъ относиться къ призывамъ Николая Эдуардовича. Всего себя я принесъ въ жертву за это право. А онъ? Веселый, самодовольный, ничего не боящійся, живущій въ свое удовольствіе, какъ онъ, будучи епископомъ, можетъ не страдать, подобно Николаю Эдуардовичу, не горѣть жаждой подвига и мученичества за Христа? Какъ онъ смѣетъ такъ улыбаться, ѣсть, пить, спать, не зная ужаса ни передъ смертью, ни передъ адомъ?

Все, что было темнаго, злобнаго и тяжелаго во мнѣ противъ Николая Эдуардовича, обратилось противъ Евлампія, мнѣ захотѣлось обличить его, заставить его страдать, показать ему, какъ на его мѣстѣ долженъ былъ бы поступить дѣйствительный епископъ дѣйствительной Церкви Христовой.

И я, чувствуя, что лечу въ пропасть, но уже не въ силахъ владѣть собой, грубо перебилъ Евлампія:

— Владыка, если вы искренно сравниваете наше воззваніе съ пророчествомъ Іереміи, и это не фраза, то значитъ вы согласны съ тѣмъ, что въ немъ говорится. А если вы согласны, то какъ епископъ Церкви Христовой, не можете отказаться написать окружное посланіе. Такой отказъ равносиленъ отреченію отъ Христа.

— Видите-ли, друзья мои, — мягко проговорилъ Евлампій, но глаза его были злы и лицо холодно. Видите-ли. О всякомъ дѣлѣ напередъ нужно подумать, къ чему оно приведетъ. Вы молоды, вамъ трудно понять это. Ну, положимъ, напишу я, меня, разумѣется, не послушаютъ, возьмутъ и засадятъ въ монастырь, а на мое мѣсто назначатъ какую-нибудь, простите, дубину. И онъ засмѣялся. Развѣ-жъ это хорошо будетъ? Вотъ сейчасъ ко мнѣ вы приходите, другіе,— какъ къ другу, отцу, говоримъ мы по душамъ. Совершаю я тѣмъ Господню работу? Воистину совершаю. А какъ въ монастырь то запрутъ, гдѣ тамъ пользу принесешь? Вотъ и недавно юноша ко мнѣ одинъ пришелъ,—такой прекрасный юноша. Деньги потерялъ. Я далъ ему—помогъ. Другой прогналъ бы. Развѣ это хорошо? Такъ бы вотъ всѣ, какъ я, потихоньку дѣлали, тогда, повѣрьте,—снова засмѣялся онъ, никакихъ бы посланій окружныхъ не понадобилось. Плохо у насъ въ Россіи, что говорить, только Божіе домостроительство требуетъ терпѣнія и смиренія. Воистину такъ... Я цѣню вашу, какъ бы сказать, апостольскую ревность, но наипаче оцѣнилъ бы ваше смиреніе. «Кто хочетъ между вами быть большимъ,—да будетъ слугою». Будьте слугами всѣмъ, сказалъ Христосъ, и все будетъ хорошо. Такъ-то, дѣти мои. А теперь,—аминь и будемъ чай пить.

— Нѣтъ, владыка, разговоръ на этомъ кончиться не можетъ, рѣзко сказалъ я, еще больше раздражаясь отъ его виляній: мы не гости, а вы не хозяинъ. Вы архипастырь, а мы христіане. Мы не хотимъ полуязыческихъ полужитейскихъ разсужденій, мы ставимъ вопросъ прямо: вѣруете вы въ Христа или нѣтъ. Если нѣтъ, намъ не о чемъ съ вами говорить, если да,

вы обязаны написать окружное посланіе. Потому что всякій разъ, когда вы открыто не протестуете противъ поруганія Церкви, вы отрекаетесь отъ Христа. Вы говорите, что выйдетъ изъ вашего подвига? Васъ засадятъ въ монастырь. Вы не будете приносить пользы. Владыка, вспомните мучениковъ христіанскихъ. Развѣ они такъ разсуждали? Развѣ они отрекались отъ Христа, чтобы потомъ «приносить пользу»?

И теперь вопросъ стоитъ передъ вами ребромъ: или со Христомъ,—тогда на муки, на подвигъ, или противъ Христа, тогда жизнь въ хоромахъ, почетъ, уваженіе,—но тогда уже не смѣйте заикаться о «работѣ Господней»

Все время, пока я говорилъ, Евлампій сидѣлъ, не подымая глазъ. Николай Эдуардовичъ съ вопросомъ и надеждой смотрѣлъ на него.

Когда я кончилъ, угрястый академикъ, краснѣя и взглядывая то на меня, то на Евлампія сказалъ:

— Все это такъ, но мнѣ кажется, что вопросы эти далеко еще не выяснены въ богословской литературѣ...

Ему никто ничего не отвѣтилъ.

Я былъ увѣренъ, что Евлампій не выдержитъ своей роли, и ждалъ отъ него какой-нибудь грубой выходки.

Но Евлампій поднялъ свое лицо, еще болѣе поблѣднѣвшее, но уже съ новымъ мягкимъ, какъ бы пристыженнымъ выраженіемъ и, обратившись почему-то не ко мнѣ, а къ Николаю Эдуардовичу, тихо спросилъ:

— Если всѣ молчатъ,—то значитъ всѣ отрекаются, гдѣ же тогда Церковь, про которую сказано, что «врата адовы не одолѣютъ ея»?

Въ вопросѣ Евлампія мнѣ почудилось то же холодное безжизненное любопытство, которое такъ хорошо было знакомо мнѣ, и я готовъ былъ расхохотаться ему въ лицо. Я боюсь смѣха. Въ смѣхѣ есть что-то страшное. Человѣкъ—трупъ; но что можетъ быть ужаснѣе смѣющагося трупа?..

И при мысли о томъ, какъ мой хохотъ напол-

нитъ внезапно эту душную, жаркую комнату, я весь задрожалъ холодною дрожью и, отдаваясь чему-то, что было сильнѣе меня, заговорилъ неестественно громко и съ такою властью, которая мнѣ совершенно не свойственна...

— Церкви нѣтъ... Церкви Христовой нѣтъ. Приближаются послѣдніе дни. По пророческому слову мерзость и запустѣніе станутъ на святомъ мѣстѣ. Церковь предастся во власть Антихриста... Антихристъ побѣдилъ земную Церковь!

Я почти кричалъ. Какъ вихрь, что-то неслось во мнѣ. И не ужасъ, но радость тяжелая и темная душила меня отъ этихъ словъ о торжествѣ Антихриста.

— И сейчасъ я чувствую, — продолжалъ я, холодѣя: что межъ нами... собравшимися во Имя Христово, не Христосъ, а Антихристъ... Я чувствую его близость... Онъ пятый между насъ... Онъ страхъ... Онъ входитъ во всѣхъ насъ...

Но силы сразу оставили меня и я замолчалъ.

Стало такъ тихо, такъ тихо, какъ въ истлѣвшей могилѣ. Я ничего не видалъ передъ собой, только глубокіе, полные любви и тоски глаза Николая Эдуардовича стояли передо мной, какъ два глаза Распятаго...

— Видно, надо говорить всю правду,—тяжело началъ Евлампій: вѣдь Богъ-то видитъ; не по незнанію, а по слабости молчимъ... Подлинно, подлинно отъ Христа отрекаемся... Силъ нѣтъ... Дерзновенія нѣтъ... О, какъ тяжело-то иной разъ бываетъ, еслибъ вы знали.

Онъ, сгорбившись и держась рукой за голову, наклонился надъ столомъ.

— Владыка,—тихо, но страстно, мучительно проговорилъ Николай Эдуардовичъ. Христосъ поможетъ вамъ,—Христосъ дастъ силы вамъ. Мы будемъ молиться... Христосъ не оставитъ Церковь свою... О, если въ васъ есть хоть капля любви, вы пойдете на этотъ святой подвигъ... Мы умоляемъ васъ, мы всѣ будемъ съ вами. Сдѣлайте это. Вѣрьте, тысячи сердецъ отзовутся на вашъ святой призывъ, и силы ваши умножатся. Только начать... Дерзайте, владыко. Правда сильнѣе силы... Антихриста побѣдитъ Христосъ...

— Все это онъ мнѣ говоритъ,—какъ въ бреду неслось въ моему мозгу,—мнѣ или тому, что во мнѣ... И почему такъ давятъ его слова... Почему такъ страшно, такъ темно, такъ душно?.. Онъ говоритъ о Христѣ, но это неправда... Почему же слова его такъ связываютъ меня... Ужели Онъ побѣдитъ!...

Евлампій еще ниже нагнулся надъ столомъ и почти шопотомъ говорилъ:

— Дайте подумать... дайте подумать недѣльку. Я не отказываюсь... Можетъ быть... Силъ только нѣтъ; робость какая-то, словно связанъ чѣмъ... Господи, прости согрѣшенія наши.

— Это путы звѣря—Антихриста—едва выговорилъ я. Мое горло давила судорога. Какъ въ туманѣ, все двигалось и расширялось передо мной.

Я видѣлъ, что Николай Эдуардовичъ прощается съ Евлампіемъ, тотъ креститъ, цѣлуетъ его, и лицо у него не прежнее холодное и фальшивое, а умиленное и заплаканное.

— Если вы пойдете къ другимъ епископамъ,—говорилъ онъ, и на губахъ его улыбка добрая, даже дѣтская: будьте осторожны, а то можете на такого напасть, что и за полиціей пошлетъ.

Мы уходимъ...

Какъ въ туманѣ все было, какъ въ бреду, или въ тяжеломъ снѣ... Весь міръ дѣйствительный исчезъ для меня и другое открылось, и другое, окончательное должно было начаться...

V.

Антихристъ. Моя теорія.

Такъ это не могло кончиться. Я не зналъ, что именно должно произойти, но отчетливо сознавалъ одно: теперь это неизбѣжно—бѣжать некуда...

Дойдутъ ли до васъ эти нечеловѣческія муки, пережитыя мной? Мнѣ не нужно вашихъ сожалѣній. Мнѣ нужно лишь, чтобы вы поняли меня, чтобы исповѣдь моя, хоть на одинъ мигъ, была для васъ дѣйствительной исповѣдью, во всей ужасающей сложности раскрывающей, что я за «типикъ». Объ одномъ я готовъ умолять васъ: не заподозрѣвайте меня въ выдумкѣ. Вамъ легко будетъ сдѣлать это. Но, клянусь вамъ, все это, до мельчайшей подробности, пережито мной, — да, кто знаетъ, можетъ быть, и не мною однимъ,—и лишь разница въ томъ, что я откровенно (согласенъ, что даже до непозволительности откровенно) обнажаю передъ вами свою душу.

А попробуйте-ка заговорить о томъ, о чемъ никогда не говорятъ, но что всегда переживаютъ,— вамъ это обязательно покажется фальшью.

Но вѣрьте, не часто вамъ придется услышать въ дѣйствительной жизни такія искреннія признанія, какія вы слышали отъ меня.

Пусть эта ночь была ночь бреда, можетъ быть припадка безумія, — но она была, она раскрыла мнѣ все и я помню ее съ такой мучительной ясностью.

И какъ мнѣ не говорить объ этой ночи, когда въ ней ключъ ко всему.

Мнѣ чудится, что я даже сейчасъ вижу свое искаженное лицо, свои безумные глаза, вижу себя, какъ

двойника своего, пришедшаго разсказать мнѣ всѣ тайны моихъ постоянныхъ мученій.

Какъ клочки разорванныхъ облаковъ неслись во мнѣ дикіе, безсвязные клочки мыслей, и я все торопился, торопился догнать самую изъ нихъ важную, самую нужную.

Въ природѣ масса отвратительнаго. Красива она издали, а приглядитесь-ка къ ней. Въ ней все смерть, разложеніе и пожираніе одними другихъ. Но я ничего не знаю отвратительнѣе насѣкомыхъ подъ названіемъ наѣздники. Они кладутъ свои яйца въ живыхъ гусеницъ другихъ насѣкомыхъ, гусеница не умираетъ, она продолжаетъ жить, но внутри нея уже живетъ другая личинка, питается, растетъ и, наконецъ, выводится вмѣсто настоящей. Ну, можно-ли придумать что-нибудь болѣе утонченное, болѣе извращенно-жестокое, чѣмъ придумала это природа! Вдумайтесь только. Вѣдь это что-то прямо невѣроятное, какой-то кошмаръ, галлюцинація. Одинъ прокалываетъ другого, живетъ тамъ, ѣстъ, растетъ, а тотъ по виду все прежній, и лишь съ отвращеніемъ чувствуетъ, какъ внутри его что-то шевелится совсѣмъ другое, безобразное, чужое. Воистину только Божеская премудрость могла додуматься до такого фокуса! Но позвольте васъ спросить, какъ это не невѣроятно, какъ это не похоже на сказку, осмѣлитесь-ли вы отрицать это? Попробуйте, я ткну въ природу пальцемъ. Да вы, конечно, и не станете отрицать этого. Вы скажете: это фактъ; мы можемъ ощупать его нашими руками и увидать собственными глазами своими. Но позвольте спросить васъ: многое-ли, самое даже важное, самое для всѣхъ драгоцѣннѣйшее, что совершается въ душѣ вашей, можете вы осязать или видѣть?... И все-таки это — фактъ. Вы скажете, что мы это чувствуемъ, и сознаніе привыкло вѣрить нашему чувству, — такимъ образомъ и чувство есть фактъ. Прекрасно. Такъ позвольте вамъ заявить слѣдующее: я чувствую, что я именно такая гусеница съ лицомъ человѣческимъ, и что меня прокололъ другой, и живетъ во мнѣ, и ѣстъ душу мою.

Воображаю, какъ вамъ весело станетъ отъ этого признанія. Развѣ не смѣшно, въ самомъ дѣлѣ, человѣкъ настоящій, говоритъ, ходитъ, улыбается и плачетъ,—а подъ кожей-то у него «наѣзднікъ»: Тѣ, что поглубокомысленнѣе, разумѣется, уже спѣшатъ отвѣтить мнѣ: вы сумасшедшій. У глубокомысленныхъ господь все просто дѣлается: обругаются и все тутъ.

Но буду продолжать.

Тамъ, на постели, послѣ посѣщенія Евлампія, я впервые созналъ себя проколотой гусеницей, тамъ впервые понялъ, что за птица тогда въ первый разъ во мнѣ шевельнулась, почему такимъ страхомъ тогда сжалось мое сердце. Я понялъ, кто изъ меня съ мучительнымъ любопытствомъ посматривалъ на Николая Эдуардовича и кто съ такой мукой и торжествомъ говорилъ Евлампію о грядущемъ Антихристѣ...

Да, я понялъ все. Была такая минута,—нѣтъ, неуловимая часть времени,—когда вдругъ вспыхнула во мнѣ какая-то свѣтлая точка и разомъ озарила все...

Разомъ исчезли стѣны, раздвинулся потолокъ и страхъ ворвался отовсюду, поползъ со всѣхъ сторонъ, холодными иглами вонзаясь въ мою душу.

О, это былъ не тотъ игрушечный страхъ смерти, который всю жизнь, какъ зайца, травилъ меня. Это былъ настоящій міровой страхъ.

Я не видалъ ничего. Но они, всѣ они были здѣсь. Я не видалъ острыхъ глазъ, мокрыхъ тянущихъ губъ, но я зналъ ихъ.

Я центръ міра и все медленно, до муки медленно, ползло и пронизывало меня.

Ужасъ и безуміе сливалось въ одно...

Я Царь! Я Богъ!

Я не двигался; я ждалъ. Я еще ждалъ «призванья», окончательнаго, безповоротнаго. Слово еще не было произнесено.

Я уже все зналъ и ждалъ..

Точно милліоны длинныхъ цѣпкихъ рукъ, такихъ неотступныхъ, такихъ мертвенно-блѣдныхъ тянутся ко мнѣ.

И все я видѣлъ, и все принималъ, какъ единый властелинъ вселенной...

Тысячи голосовъ шептали мнѣ въ уши... И страхъ росъ отъ этого шопота. Хотя въ немъ не было ни словъ, ни смысла...

Я себя увидалъ.

Маленькимъ, маленькимъ, еще въ бѣлой чистенькой рубашечкѣ. Я все вспомнилъ. Точка свѣтлая все озарила мнѣ и въ одинъ мигъ быстрѣе вихря, быстрѣй сознанья человѣческаго всю жизнь свою снова принялъ въ себя.

Я шелъ въ гимназію... Экзамены. Первый урокъ... Говѣли на страстной недѣлѣ... Заутреня... пихтой пахнетъ. Огни... Христосъ воскресъ, Христосъ воскресъ... Бабушка въ гробу... Крымская ночь...

Все, все, чувства, мысли, каждое движеніе, каждое слово...

И такъ всю жизнь. И прошлое, и будущее. Одинъ, только я одинъ. Все знаю, все могу, все принялъ...

Растетъ, ширится. Шопотъ совсѣмъ близко, почти въ головѣ... Руки длинныя, холодныя, все тянутся, почти хватаютъ за горло.

Скоро, скоро! Я знаю, что скоро. Онъ близко! Гдѣ-то далеко въ туманѣ, какъ тѣни страшныя и кривыя,—мелькнулъ рядъ черныхъ крестовъ...

Все кругомъ оживаетъ, шевелится. Страшныя тѣни бѣгутъ одна за другой.

Огонь свѣчи становится красенъ, какъ кровь...

Я слышу шаги... Еще!...

. . . . . .

...Свершилось!...

Въ безумномъ ужасѣ, согнувшись, я бросаюсь въ темный уголъ комнаты, прижимаюсь къ холодной стѣнѣ и, какъ сквозь сонъ, слышу свой нечеловѣческій крикъ:

— Антихристъ!... Антихристъ!..

Придя въ себя, я съ поразительной ясностью сознадъ, что у меня откуда-то явилась стройная и законченная «теорія Антихриста». Откуда она взялась, было совершенно непонятно, такъ какъ я никогда не думалъ объ этомъ вопросѣ отвлеченно.

Эту теорію необходимо передать здѣсь.

«Ты-ли Царь Іудейскій»? спрашивалъ Пилатъ. «Заклинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи намъ, Ты-ли Христосъ Сынъ Божій?», спрашивалъ первосвященникъ. И эти два вопроса не могутъ оставаться безъ отвѣта. Въ этихъ двухъ вопросахъ жизнь или смерть.

Кто же былъ Христосъ? Царь, Сынъ Божій, искупившій міръ, спасшій его отъ зла, страданія и смерти, источникъ вѣчной жизни, возставшій изъ гроба, грядущій судить живыхъ и мертвыхъ? Или и его создалъ все тотъ же страхъ смерти, и Онъ не Сынъ Божій, а сынъ Смерти, не спасшій, а обманувшій міръ, не воскресшій, а сгнившій, не грядущій судить,—а долженствующій быть судимымъ грядущимъ Антихристомъ?

Для меня рѣшенъ этотъ вопросъ. Христосъ не Сынъ Божій. Христосъ не воскресъ. Христосъ не побѣдилъ смерть.

Все тотъ же безумный, нестерпимый, отвратительный страхъ смерти создалъ Христа. Съ того самаго момента, когда не отдѣльнаго человѣка, а все человѣчество,—тамъ въ отдаленнѣйшей глубинѣ исторіи,—охватилъ животный ужасъ передъ грядущей смертью, зародилась въ немъ слабенькая, уродливая и до смѣшного наивная греза о томъ, что кто-то, когда-то побѣдитъ міръ. Этотъ зародышъ былъ очень живучъ. Его не могли побѣдить самыя очевиднѣйшія доказательства смерти. И всѣ умирали, и всѣ передавали другъ другу свою несбывшуюся надежду. И даже чѣмъ больше умирали люди, чѣмъ глубже въ сознаніе человѣчества проникалъ весь ужасъ, вся неизбѣжность рано или поздно сгнить въ землѣ и чѣмъ сильнѣе разгоралась жажда вѣчной жизни, тѣмъ мечта о грядущемъ побѣдителѣ становилась упорнѣе и неотразимѣе. Онъ долженъ былъ придти во что бы то ни стало. Безъ него вся культура, всѣ хлопоты людскія, всѣ ихъ радости, весь пылъ ихъ воображенія,—ничто. Смерть стоитъ поперекъ дороги. Неужели же никто не уберетъ ея? Ну, конечно, уберетъ! Обязательно уберетъ: о немъ даже извѣстно, гдѣ онъ родится, гдѣ умретъ, кто будутъ его родители. Если извѣстны такія подробности, такъ

ужъ, конечно, значитъ это правда... И надежда, мечта, греза облекалась въ плоть и кровь, переходила въ вѣру. Народъ, наиболѣе любившій жизнь, ибо научился цѣнить ее въ рабствѣ, явился носителемъ этой вѣры. Отдѣльные люди, въ которыхъ страхъ смерти доходилъ до высочайшей точки, которые должны были во что бы то ни стало, чтобы жить, вѣрить въ Мессію, и которые все-таки чувствовали, что вѣра ускользала отъ нихъ, по преимуществу склонны были создавать всѣ подробности его грядущей жизни, чтобы этими подробностями загипнотизировать себя, заставить повѣрить, что онъ на самомъ дѣлѣ придетъ, и такимъ образомъ спасти себѣ жизнь. Такъ создались пророки.

Ожидаемый избавитель долженъ былъ обладать всѣми совершенствами и явиться полной противоположностью смерти, съ ея страхомъ, безобразіемъ и разрушеніемъ. Но что можетъ быть болѣе противоположно этому, какъ не любовь, красота и творчество? Чтобы бороться со смертью, онъ долженъ былъ обладать высочайшей любовью, божественной красотой и абсолютной истиной. Онъ долженъ былъ побѣдить смерть. Но какъ можно побѣдить смерть, самому не умирая? И онъ долженъ былъ умереть. И умереть не своей смертью, а смертью насильственной во цвѣтѣ лѣтъ, чтобы ярче была выражена всепобѣждающая власть смерти. Но какъ можно побѣдить смерть, самому сгнивши въ землѣ? И онъ долженъ былъ воскреснуть...

Все человѣчество до Христа жило этой вѣрой въ грядущаго. Міровая исторія до Христа есть прогрессъ во имя Христа. Вѣдь Онъ, этотъ грядущій избавитель, долженъ былъ явиться олицетвореніемъ любви, красоты и истины. Какъ же было не стремиться къ нимъ, какъ же было не провозгласить ихъ своимъ идеаломъ. Это было необходимо сдѣлать, чтобы возвыситься до Него, и тѣмъ ускорить, приблизить Его время. И дѣйствительно, человѣчество сознательно или безсознательно жило стремленіемъ къ этому идеалу, ожидая его воплощенія. Христосъ это высочайшая точка,

это результатъ напряженнѣйшихъ силъ, вѣками направлявшихся въ одну сторону. И Христосъ дѣйствительно пришелъ, родился, жилъ, дѣйствительно воплотилъ въ Себѣ высшую человѣческую любовь, красоту и истину.

Человѣчество, очевидно, должно было повѣрить и тому, что Онъ воскресъ. Да и Самъ Онъ могъ-ли не вѣрить, что Ему предстоитъ воскреснуть? Развѣ Самъ Онъ не чувствовалъ, что Его воскресеніе послѣдняя надежда міра, что или Онъ долженъ воскреснуть, или міръ погибъ.

Но Онъ не воскресъ. Его воскресеніе это ложь. Смерть побѣдила Христа. Человѣчество не могло бы жить дальше, сознай Онъ это,—и оно вымучило въ себѣ вѣру, истерическую, больную, съ надрывомъ, въ то, что Христосъ побѣдилъ смерть.

Но и этого было мало. Развѣ воскресенія одного Христа было достаточно, чтобы спасти **все** человѣчество отъ ужаса передъ смертью. Если Христосъ могъ воскреснуть, развѣ это значитъ, что воскреснутъ всѣ...

И вотъ изъ страха смерти и мечты о Христѣ создается **фактъ** Его воскресенія, и изъ факта воскресенія измученное человѣчество создаетъ грезу о всеобщемъ воскресеніи. А чтобы смерть, попрежнему истребляющая всѣхъ, какъ до Христа, такъ и послѣ Него, не смущала слабыхъ душъ, новое усыпляющее средство создаетъ человѣчество, новую мечту, что смерть это послѣдній врагъ, котораго побѣдитъ Христосъ.

Создается пророчество: «Послѣдній врагъ истребится,—Смерть».

Но Смерть, побѣдившая Христа, медленно беретъ свои права; медленно, но неуклонно разрушаетъ она иллюзію воскресенія. Смерть чудовищный фактъ, но изъ этого не слѣдуетъ, что его нужно выбросить вонъ, придумывая различныя сказки. Нужно умѣть прямо въ глаза смотрѣть правдѣ.

И вся исторія человѣчества послѣ Христа есть медленное подготовленіе къ окончательному обнаруженію лжи воскресенія Христа. И точно такъ-же, какъ прежде, человѣчество жаждало побѣдителя, вѣрило въ его пришествіе,—теперь оно жаждетъ **другого**, кто бы обнаружилъ обманъ и возстановилъ истинное значеніе смерти. Сознательно или безсознательно человѣчество до Христа стремилось съ величайшимъ напряженіемъ къ тому, кто бы явился носителемъ, воплощеніемъ въ лицѣ человѣческомъ любви, красоты и истины,—стремилось и достигло. Христосъ пришелъ. Точно такъ-же теперь, сознательно или безсознательно, послѣ Христа, съ тѣмъ же напряженіемъ, человѣчество ждетъ того, кто бы явился носителемъ, воплощеніемъ въ лицѣ человѣческомъ страха, безобразія и разрушенія. И оно должно достигнуть своего. Долженъ явиться Антихристъ.

Христа жаждали. Эта жажда давала направленіе исторіи. Любовь, красота и истина,—были идеалами, которые двигали и опредѣляли прогрессъ. Теперь жаждутъ Антихриста—и идеалами становятся противоположности любви, красоты и истины,—страхъ, безобразіе и разрушеніе. Прежде прогрессомъ было движеніе ко Христу—теперь движеніе къ Антихристу. Смерть, высшій владыка міра, входитъ въ свои права.

Чтобы вѣрить въ Антихриста, такъ понимаю, не нужно вѣрить въ Бога, безсмертіе и даже въ душу. Нужно просто имѣть здравый смыслъ. И сами что ни на есть заядлые атеисты, нигилисты и что вамъ угодно (даже атеисты и нигилисты по преимуществу) должны ждать Антихриста, и они ждутъ его. Да и понятно. Развѣ кому нибудь другому можетъ быть такъ ненавистенъ христіанскій Христосъ, какъ онъ ненавистенъ атеисту. А потому, развѣ кто нибудь другой можетъ такъ жадно искать того, кто, наконецъ, разъ навсегда покончилъ бы съ Христомъ, такъ хотѣть обнаруженія вѣковѣчной лжи и такъ пламенно вѣрить въ грядущаго Антихриста.

Когда пришелъ Христосъ, ожиданіе побѣдителя Смерти достигло высочайшаго напряженія, и потому Христа сразу приняли. Да можно-ли назвать это побѣдой. Еще до Его пришествія всѣ уже сами

были побѣждены своимъ страхомъ смерти и вѣрой въ избавителя, родившейся отъ отчаянія. Христосъ побѣдилъ побѣжденныхъ Они безъ сопротивленія пали ницъ. Точно такъ-же, когда придетъ время Антихриста, человѣчество достигнетъ напряженнѣйшей жажды, чтобы наконецъ ложь была обнаружена, и Смерть все равно неизбѣжная, скорѣе бы, не мучая своимъ медленнымъ подползаніемъ, разомъ и навсегда покорила бы міръ. А потому Антихристъ такъ-же разомъ покоритъ міръ.

Каждый человѣкъ до Христа, въ своемъ чаяніи Его пришествія, былъ носителемъ духа Христова, былъ носителемъ частицы того, кто въ цѣломъ долженъ былъ явиться.

А все человѣчество, состоявшее изъ этихъ отдѣльныхъ лицъ, было какъ бы коллективнымъ Христомъ. Христосъ уже былъ, но былъ въ человѣчествѣ, и долженъ былъ вылиться въ одно цѣлое.

Послѣ Христа, точно такъ-же, каждый отдѣльный человѣкъ является носителемъ духа Антихриста, точно также коллективный Антихристъ живетъ во всемъ человѣчествѣ, и долженъ вылиться въ одно цѣлое. Отдѣльные люди могутъ въ большей и меньшей степени явиться носителями духа его

Прежде лучшими были тѣ, въ комъ полнѣе воплощался Христосъ, потому что они по преимуществу приближали время Его пришествія,—теперь лучше тотъ, кто полнѣе воплощаетъ въ себѣ Антихриста...

Послѣдняя мысль ошеломила меня.

Святой отъ Антихриста! До такого дерзновенія не доходилъ никто.

Обманъ слаще,—но въ дѣйствительности надо смотрѣть въ глаза прямо. Покой даетъ вѣра въ Пришедшаго,—отчаянье и ужасъ охватываетъ при мысли о грядущемъ. И наступитъ день, когда оставшіеся носители духа Христова, жалкіе, обманутые служители «воскресшаго» Христа, въ изступленномъ напряженіи, чающіе всеобщаго воскресенія, столкнутся съ грозной непобѣдимой силой Антихриста. Эта сила выстрадана вѣками, создана напряженіемъ милліоновъ людей, какъ нѣкогда созданъ былъ Христосъ.

Вся сила вѣры въ Христа, вся любовь къ добру, вся безграничная жажда вѣчной жизни, достигнувъ напряженія, равнаго по силѣ временамъ перваго пришествія Христова, соберется въ одинъ центръ, въ загнанную ничтожную кучку людей, которая обратится противъ Антихриста.

Придетъ Антихристъ и раздавитъ эту кучку непокорныхъ властью Смерти. И ужасная драма, всемірная трагедія пустыхъ, ненужныхъ надеждъ, страданій и страха,—закончится.

И все кончится, и все смолкнетъ, «и солнце померкнетъ и луна не дастъ свѣта своего» и духъ Смерти, не имѣя жертвъ, въ вѣчномъ молчаніи будетъ носиться надъ вселенной!

VI.

У Вѣрочки.

Я—Антихристъ. Эта мысль приводила меня почти въ восторгъ! Смыслъ жизни былъ найденъ. Теперь я зналъ, что жизнь моя нужна —даже очень нужна. Во мнѣ жилъ духъ Антихриста, воплощаясь, быть можетъ, болѣе полно, чѣмъ въ комъ нибудь другомъ; черезъ меня какъ бы приближалось время его грознаго пришествія, такимъ образомъ я являлся несомнѣннымъ носителемъ прогресса. Ужъ я не могъ сказать теперь, что живу только для того, чтобы сгнить. Жизнь моя пріобрѣтала міровое значеніе.

Я не могу сказать, что вполнѣ освободился тогда отъ своего страха и гнетущей тягости, но въ то время, о которомъ я говорю, мои прежнія настроенія какъ бы ушли на задній планъ. Вы увидите изъ дальнѣйшаго, что все это было не на долго. Но въ первое время, неожиданное, словно съ неба свалившееся открытіе,—что въ моей жизни есть несомнѣнный смыслъ,—дѣйствовало на меня ошеломляюще, поглощало все мое вниманіе и наполняло чувствомъ, похожимъ на гордость.

На слѣдующее же утро я рѣшилъ, что обязательно долженъ пройтись по всѣмъ наиболѣе знакомымъ мнѣ улицамъ, и такимъ образомъ, «начать новую жизнь». Мысль, конечно, до смѣшного ребяческая и даже, согласенъ, немножко странная, на ряду съ грандіозными мыслями о пришествіи Антихриста, финалѣ міровой исторіи и т. д. Но кто же изъ людей, если честно пороется въ своей памяти, не отыщетъ тамъ такихъ же ребяческихъ фантазій на ряду съ самыми трагическими переживаніями? Ужъ такова психика наша; повѣрьте, что человѣкъ и за крокетной игрой можетъ рѣшиться на самоубійство. Поройтесь-ка въ своей душѣ и вы со мной согласитесь,—конечно, если только вы раньше привыкли обращать вниманіе на то, что дѣлается внутри васъ. Хотя я заранѣе готовъ согласиться, что едва ли не большая половина людей совершенно не знаетъ, чѣмъ живетъ и болѣетъ ихъ душа.

Что касается моей ребяческой мысли, то я могу признаться, что привелъ ее даже въ исполненіе.

Идя по улицамъ, я волновался, какъ мальчикъ, котораго въ первый разъ одного пустили гулять. Все производило на меня совершенно новое впечатлѣніе. И это такъ радовало меня, словно и въ самомъ дѣлѣ въ новизнѣ этихъ впечатлѣній были задатки новой начинающейся жизни. Меня не раздражали и не злили, какъ это было обыкновенно,—мелькавшія на встрѣчу чужія лица прохожихъ. Что-то смутно для меня знакомое было во всѣхъ нихъ. И мнѣ хотѣлось подойти къ каждому и сказать:

—Я тоже знаю, зачѣмъ я живу... Только, конечно, самой сущности, ради чего я на свѣтѣ живу, я вамъ не открою.

Я и этой мысли чуть было не привелъ въ исполненіе.

На какой-то площади мнѣ попался толстый, веселый, бритый господинъ въ бобровой шапкѣ. Онъ такъ вызывающе весело посмотрѣлъ на меня,—мнѣ даже показалось, что онъ едва уловимо улыбнулся краешками своихъ толстыхъ губъ, вся фигура его выражала такое «что, молъ, я то же».. Но вдругъ меня внезапно, какъ громомъ, поразила мысль,—которая, я рѣшительно не умѣю сказать почему, мнѣ раньше не приходила въ голову, и которая такъ ошеломила меня, что я въ глупой позѣ пропустилъ мимо себя бритаго господина, который не безъ любопытства на меня покосился. Я это тоже замѣтилъ.

Признаюсь, теперь я даже радъ, что эта внезапная мысль помѣшала мнѣ. Воображаю, какая нелѣпая

сцена могла бы разыграться. Но тогда меня можетъ быть и тянуло сдѣлать эту выходку то, что она должна была бы кончиться безсмысленнѣйшимъ скандаломъ, скандаломъ, настолько нелѣпымъ, что даже на дѣйствительную жизнь не походило бы. Кошмаръ! Кошмаръ! Это-ли еще не начало «новой жизни»?

Мысль, такъ ошеломившая меня, была такова:

Почему бы не пойти мнѣ къ Вѣрочкѣ. Согласитесь, въ этой мысли было много кое-чего ошеломляющаго. Признаюсь, о Николаѣ Эдуардовичѣ я тогда не подумалъ,—во встрѣчѣ съ нимъ было слишкомъ много трудностей. Вся суть была въ Вѣрочкѣ.

Она была такая еще маленькая, хрупкая, ей и въ голову не могло придти ничего подобнаго, она еще и понять то была бы не въ силахъ, на какія утонченности душа человѣческая способна,—и вдругъ передъ такой-то дѣвочкой взять да и распахнуть всю свою подноготную, вывернуть всего себя на изнанку, показать свою самую что ни на есть грязную «святая святыхъ». Вѣдь тутъ столько завлекательнаго, такой соблазнъ, особенно, если принять во вниманіе, что я не видалъ ее съ деревни, и мы разстались съ ней такими «простыми» друзьями.

Ну я и не устоялъ. Въ тотъ же вечеръ пошелъ къ нимъ, и къ величайшему своему счастью, засталъ Вѣрочку одну. Странный произошелъ между нами разговоръ,—и болѣе чѣмъ странно было его окончаніе. Конца такого, разумѣется, я предвидѣть не могъ, но что касается самаго разговора, то какъ же могло быть иначе. Вѣдь о самомъ-то главномъ, о томъ, чѣмъ душа живетъ, у насъ ни иносказательно, ни прямо, говорить не принято. У насъ языкъ то къ этому не приноровленъ. Вы послушайте, о чемъ у насъ разговариваютъ: или о пустякахъ, о самой что ни на есть сѣренькой повседневности, или ужъ глубокомысленные споры ведутъ, такъ называемые «принципіальные разговоры». А все, чѣмъ собственно и живетъ то человѣкъ, всѣ его самыя глубочайшія паденія душевныя, его радости, сомнѣнія, все развитіе духа его, всѣ болѣзни,—это каждый человѣкъ самъ

по себѣ пережить и перестрадать долженъ. Вѣдь такъ, какъ въ романахъ пишутъ, люди въ дѣйствительной жизни никогда не говорятъ. Теперь это явленіе радуетъ меня (изъ дальнѣйшихъ «записокъ» вы узнаете почему)—но тогда еще я всѣми нервами своими чувствовалъ ужасъ такого положенія. Муку разговоровъ о пустякахъ особенно поймутъ натуры посложнѣе. Муку въ полномъ смыслѣ безысходную. Въ самомъ дѣлѣ, сталкиваетесь вы съ людьми? Должны ли вы разговаривать съ ними? Должны—нельзя же молча сидѣть. Душа ваша полна глубочайшими процессами духа, а вы говорите о чаѣ. Не могутъ же всѣ только и дѣлать, что другъ съ другомъ исповѣдываться. Уединяйтесь въ такія минуты—скажете вы. Но, во первыхъ, вся суть въ томъ, что вы не знаете, когда и въ какомъ мѣстѣ заговоритъ въ васъ душа,—нельзя же бѣжать изъ за стола не допивъ стакана, а, во вторыхъ, и это самое главное, въ уединеніи не совершается самая острая сторона внутренней работы, она совершается среди людей, въ связи съ внѣшними впечатлѣніями. И вотъ такой сложный человѣкъ мало по малу втягивается въ эту роль смѣющагося страдальца и мало по малу доходитъ до того, что вы ни за что на свѣтѣ по внѣшнему виду не опредѣлите, что дѣлается въ его душѣ. Больше того: человѣкъ втягивается въ своеобразную прелесть перешагивать чрезъ самыя глубокія, самыя головокружительныя пропасти, незамѣтно и невидимо ни для кого, въ моменты балагурства и зубоскальства, самаго непростительнаго.

Такого мнѣнія я держусь о другихъ людяхъ. Ну, а обо мнѣ и говорить нечего. Я никогда и заикнуться не могъ о томъ, что во мнѣ дѣлается. Какъ заколдованный актеръ, по внушенію чьей-то проклятой силы, залѣзъ я въ костюмъ, замазался гримомъ и, изнемогая отъ усталости, изо дня въ день, изъ года въ годъ, не видя конца передъ собой, долженъ играть одну и ту же ненавистную роль...

Въ этотъ вечеръ Вѣрочка, какъ нарочно, была оживлена и весела чрезвычайно. Болтала она безъ

умолку. Разсказывала о Трофимѣ Трофимовичѣ, о поѣздкѣ на мельницу послѣ моего отъѣзда изъ деревни, о какой-то пресмѣшной дѣвочкѣ, которая говорила: «привези мнѣ куклу, чтобы етикъ былъ маленькій, какъ ноготокъ тамъ, гдѣ тейненькій».

Мнѣ она слова не давала сказать. Ея оживленіе и наивная веселость только еще болѣе подзадоривали меня. Смѣясь, она нагибалась впередъ всѣмъ туловищемъ,—и, глядя на нее, я думалъ: „вотъ, постой, я тебя огорошу". И при мысли, какъ она поблѣднѣетъ, какъ потемнѣютъ глаза ея, и тоненькія ручки безсильно упадутъ на колѣни, сердце мое тревожно замирало и судорога кривила ротъ.

Вообще въ моей внѣшности очевидно появилось что-то странное.

По крайней мѣрѣ Вѣрочка внезапно перемѣнила тонъ и, не по дѣтски серьезно посмотрѣвъ мнѣ прямо въ глаза, тихо спросила:

— Что съ вами?

Я такъ ждалъ этого момента, такъ ждалъ, что разговоръ какъ-нибудь случайно приблизится къ нужной для меня чертѣ,—что вдругъ заволновался весь; ничего не могъ отвѣтить, и только улыбался, чувствуя, что улыбка выходитъ глупая, неумѣстная и краснѣя за свою улыбку.

— Вы разстроены чѣмъ-то,—участливо продолжала Вѣрочка, со вниманіемъ осматривая меня: вы можетъ быть нездоровы.

— Это вы такъ потому говорите,—запинаясь началъ я: что вы еще очень маленькая, совсѣмъ еще дѣвочка... Если бы вы побольше были, вы бы знали, что порядочные люди здоровыми никогда не бываютъ.

Вѣрочка молча, съ недоумѣніемъ, смотрѣла на меня. А мнѣ только этого и нужно было.

— Да, да,—съ жаромъ продолжалъ я: что-нибудь надо одно выбирать,—здоровье или порядочность. Нервы человѣку для чего, вы думаете, даны? Для счастья, да, для счастья? Нервы даны, чтобы съ ними жить при нормальныхъ условіяхъ, чтобы одну радость, да безмѣрную благодать Божію ощущать. Чтобы съ улыбкой встать, за день одно райское блаженство пережить, а вечеромъ съ той же улыбкой лечь спать. Вотъ для чего нервы даны. А вдругъ вмѣсто того, вмѣсто райскаго-то блаженства, по нимъ съ утра до вечера что есть силы палкой бьютъ. Какое же тутъ здоровье. Здоровыми могутъ быть или дѣти, или мерзавцы,—потому что и тѣ и другіе ничего не видятъ дальше самихъ себя.

— Опять, опять вы за старое,—всплеснула Вѣрочка руками и заговорила такъ-же порывисто, съ тѣмъ же увлеченіемъ, съ которымъ она вообще все дѣлала. Развѣ же мало на свѣтѣ счастья. Развѣ мало на свѣтѣ благодати Божіей, какъ вы выразились. Нужно умѣть видѣть хорошее. Злое видѣть гораздо легче, потому его и кажется больше въ жизни. Вы говорите: «дѣти или мерзавцы». Развѣ можно такъ говорить. Вы не имѣете права такъ говорить. Вы въ Христа вѣрите, а Христосъ о дѣтяхъ такъ не говорилъ... Просто вы капризничаете, вотъ что я вамъ скажу.

Но Вѣрочка теперь для меня была не тѣмъ, что въ деревнѣ. Ея упорство лишь ожесточило меня.

— Гдѣ это вы счастье увидали,—съ ненавистью сказалъ я: вы еще жизни не знаете. Всюду развратъ, нищета, голодъ. Всюду люди страдаютъ, до изступленія страдаютъ, до скрежета зубовнаго, а вы «благодать Божія»! Позвольте-ка васъ спросить, что, если бы человѣкъ отъ сырости, отъ голода, отъ разврата на глазахъ вашихъ умеръ, могли бы вы съ улыбкой спать пойти? А что измѣнится отъ того, что не на глазахъ? Для порядочнаго человѣка ничего не измѣнится. Порядочный человѣкъ одинаково людей любитъ, и когда они передъ глазами страдаютъ, и когда за версту страдаютъ. А если такъ,—то позвольте вамъ заявить, что не одинъ человѣкъ,—сотни людей мрутъ въ подпольяхъ. И разъ вы это знаете, вы должны также страдать, какъ если бы они умирали на вашихъ глазахъ. Порядочный человѣкъ ни одной минуты не проживаетъ на свѣтѣ безъ слезъ...

— Неправда, неправда,—махала руками Вѣрочка,

вскакивая и отъ волненія бѣгая по комнатѣ: прекрасно даже можно и улыбаться, и смѣяться, и все, что хотите... Конечно, на свѣтѣ много зла, я это тоже прекрасно знаю, не думайте пожалуйста,—только позвольте и васъ тоже спросить: развѣ не существуетъ нравственнаго удовлетворенія? Какъ, по вашему, неужели человѣкъ, который цѣлый день съ утра до вечера работаетъ, приноситъ пользу, всего себя отдаетъ на служеніе людямъ, на борьбу со зломъ и страданіемъ, ужели такой человѣкъ не можетъ, какъ вы выражаетесь, «съ улыбкой спать пойти». Не можетъ, не можетъ?—наступала на меня Вѣрочка.

— Не можетъ,—съ какимъ то злорадствомъ, тоже вставъ съ своего мѣста, сказалъ я: вы только представьте такого человѣка. Не словесно, не отвлеченно, а плотью и кровью представьте, живымъ, въ пальто, въ шляпѣ... Вотъ приносилъ, приносилъ этотъ вашъ человѣкъ пользу и захотѣлось ему чаю напиться. Зашелъ онъ въ трактиръ; а въ трактирѣ такой гвалтъ, что голова кругомъ идетъ. (Этотъ случай дѣйствительно былъ со мной, и теперь, говоря съ Вѣрочкой, я не знаю почему его вспомнилъ). Вотъ взошелъ онъ и видитъ: за однимъ столомъ сидитъ жирный, прежирный господинъ, красный, потный и оретъ во все горло:

— Ползи, на колѣняхъ ползи... Не прощу...

Передъ нимъ на колѣнахъ валяется женщина, больная, истерзанная.

— Ползи,—оретъ толстый мужчина: дальше встань, больше ползи...

И женщина трясется вся и ползетъ по грязному полу. Но лишь только подползаетъ она, онъ тычетъ ей въ лицо ногой.

— Еще разъ ползи... снова ползи...

И снова та же исторія.

Такъ вотъ, какъ вы думаете,—ночью, придя къ себѣ въ комнату, закутавшись одѣяломъ, не станетъ страшно этому добродѣтельному человѣку за все безобразіе жизни, за весь ужасъ ея. И какъ вы думаете,—улыбнется онъ отъ сознанія «исполненнаго долга», или разрыдается, въ подушку уткнувшись, вспомнивъ всю эту отвратительную сцену?

Вѣрочка молчала, какъ пришибленная.

— Вы еще жизни совсѣмъ не знаете,—мягко сказалъ я чувствуя, что надъ нею имѣю власть: потому не знаете и того, сколько въ ней самой безпросвѣтной тьмы, самой непроходимой грязи. По внѣшнему виду въ жизни все весьма благополучно. Идете вы по улицѣ, люди попадаются все такіе приличные: толкнутъ, извинятся, это-ли еще не культура?

На лбу вѣдь ни у кого не написано, что, молъ, сей благообразный господинъ подлецъ, развратникъ, что въ душѣ у него ни одного живого мѣста нѣтъ. Да, что на улицѣ. Другого вы нѣсколько лѣтъ знать будете, все такія слова хорошія говорить будетъ, а въ душѣ-то у него на самомъ дѣлѣ одна гнусность. И никогда этой гнусности вы не узнаете, никогда, никогда.

— Что вы говорите—какъ рыданіе вырвалось изъ груди Вѣрочки.

— Правду говорю, по опыту говорю. Я тоже не сразу христіаниномъ сталъ, бывали страшныя паденья во мнѣ и никто не замѣчалъ этого... Больше того.

— Но развѣ же искренняго человѣка сразу не видно? наивно, но съ глубокой тоской перебила меня Вѣрочка: я понимаю, что хорошія слова можно по заказу говорить, но глаза, жесты, голосъ, интонація...

— Такъ вы дѣйствительно убѣждены, что искренняго человѣка всегда можно узнать?

— Всегда,—твердо сказала она.

— Ну, а какъ вы думаете, искренній я человѣкъ или нѣтъ? неожиданно для самого себя спросилъ я. Какъ паукъ съ жадностью я смотрѣлъ на Вѣрочку, задыхаясь отъ притягательно-томительнаго чувства, подобнаго тому, какое испытываешь, заглядывая въ черносинюю глубину пропасти.

Вѣрочка съ удивленіемъ посмотрѣла на меня, видимо, она тоже не ожидала этого вопроса. Наконецъ сказала:

—Искренній!

Я ждалъ этого отвѣта, но можетъ быть именно

потому, что такъ ждалъ его, почти до обморока былъ потрясенъ имъ.

— Антихристъ я, развратникъ, мертвецъ полусгнившій! — хотѣлось крикнуть мнѣ. Всего меня такъ и подмывало.

Но вмѣсто этого я заговорилъ такимъ проникновеннымъ, такимъ вкрадчивымъ голосомъ, въ то время, когда въ душѣ моей все было въ движеніи, все рвалось наружу,—что даже я самъ поддался впечатлѣнію искренности своихъ словъ и почувствовалъ, какъ задрожалъ на лицѣ моемъ каждый мускулъ и губы отъ волненія стали насилу выговаривать слова.

— Другъ вы мой, — сказалъ я: вы правы, я человѣкъ искренній, повѣрьте, я могъ бы по внѣшнему виду оставаться совершенно такимъ же въ то время, какъ душа моя изсохла бы отъ сладострастья, фантазія въ конецъ была бы испорчена и воображеніе кромѣ утонченнѣйшей извращенности другой бы не знало пищи. И вы, повторяю, никогда, слышите—никогда, не узнали бы, что творится въ душѣ этого человѣка. Вы думали бы, что онъ человѣкъ горячій, пламенный, а онъ былъ бы холоденъ, какъ трупъ. Вы воображали бы, что онъ вѣритъ въ Бога, почти святой, а онъ просто бы боялся смерти.

Вѣрочка, блѣдная, уничтоженная въ конецъ, слушала съ инстинктивнымъ страхомъ мою вкрадчивую рѣчь. Видимо она смутно угадывала какую-то бездну, въ которую, можетъ быть, лучше и не заглядывать. Я видѣлъ, что нервы ея взвинчены до послѣдней степени, и что незамѣтно для нея самой все ея нѣжное, полудѣтское тѣльце дрожитъ мелкою дрожью...

И тутъ-то произошло нѣчто странное. Тотъ неожиданный конецъ разговора, о которомъ говорилъ я.

Мнѣ неудержимо захотѣлось взять ее за руку. Клянусь вамъ, въ т о т ъ моментъ во мнѣ не было ни малѣйшаго грязнаго чувства. Просто она стала для меня почему-то такъ невообразимо близка. Во мнѣ, можетъ быть на одинъ мигъ проснулись всѣ заглохшія чувства и къ людямъ, и къ себѣ, и къ семьѣ своей. Можетъ быть только мать, у которой все въ

жизни погибло, все въ жизни потеряно, въ минуты полнаго отчаянья глядя на дочь свою, способна на такое жгучее, нѣжное, и все существо до мозга костей потрясающее чувство.

Вѣрочка сначала не отняла руки, но потомъ осторожно хотѣла ее освободить. Я не пустилъ ее.

И тутъ быстрѣе, чѣмъ молнія, быстрѣе, чѣмъ можетъ замѣтить сознаніе человѣческое, во мнѣ все до самаго основанія приняло другой видъ.

Достаточно было Вѣрочкѣ сдѣлать это маленькое движеньице, едва замѣтно потянуть къ себѣ руку, а мнѣ тоже неуловимымъ пожатіемъ н а с и л ь н о оставить ее въ своей рукѣ, — чтобы Вѣрочка, и чувства мои къ ней, и вся нѣжная, материнская прелесть ихъ,— все пошло прахомъ.

Вѣдь я въ первый разъ, не въ фантазіи, а въ дѣйствительной жизни насильно заставлялъ женщину, или вѣрнѣе дѣвочку (можетъ быть даже именно потому, что дѣвочку) въ первый разъ заставлялъ сдѣлать по своему, физически заставлялъ, насильно.

И все, что когда-либо было пережито мной, весь ядъ моихъ фантазій, все разомъ съ непередаваемой, невообразимой быстротой вспыхнуло во мнѣ. И такою внезапною бѣшеною страстью загорѣлось мое сердце, что я воистину готовъ былъ на преступленіе. Несправедливѣйшее, возмутительнѣйшее, гнуснѣйшее насиліе готовъ былъ совершить я... Мнѣ не нужно было ея взаимности. Мнѣ нужно было, чтобы она кричала отъ ужаса, рыдала и билась всѣмъ существомъ своимъ отъ отвращенія и отъ отчаянія . . . . . .

. . . . . .

Вѣрочка со страшной силой выдернула свои руки и бросилась вонъ изъ комнаты...

VII.

Правда или ложь?

Всю ночь проходилъ я по пустыннымъ, безлюднымъ улицамъ.

Одно чувство покрывало во мнѣ всѣ остальныя: чувство мучительнаго, жгучаго, самолюбиваго стыда.

Что теперь она обо мнѣ думаетъ? Какимъ отвратительнымъ, ничтожнымъ существомъ я ей кажусь; какими глазами буду смотрѣть на нее при встрѣчѣ.

И каждая мельчайшая черточка только что пережитой дикой сцены вставала въ моей памяти съ такой яркостью, словно я еще видѣлъ передъ собой лицо Вѣрочки, ея глаза, ощущалъ въ рукѣ своей трепетавшую руку, которую она выдернула съ такимъ отвращеніемъ и ужасомъ.

Можно сказать, что въ памяти моей вся сцена осталась даже въ большей подробности, чѣмъ я сознательно видѣлъ, когда она разыгрывалась. Раскаянія въ нравственномъ смыслѣ я не испытывалъ, разумѣется, никакого, но только теперь, кажется, вполнѣ ощущалъ, какъ нелѣпо, необузданно, и главное унизительно было мое поведеніе.

Моментами такой горячій стыдъ, такая острая боль уязвленнаго самолюбія тѣснила мнѣ сердце, что я невольно останавливался на мѣстѣ и морщился, какъ отъ внезапной физической боли.

Въ сравненіи съ этимъ чувствомъ самолюбиваго стыда и непоправимаго, какъ мнѣ казалось, униженія, даже всѣ мои страхи и ужасы поблѣднѣли. Я былъ раздавленъ и жалокъ.

Въ самомъ дѣлѣ, чѣмъ я могъ возстановить себя

въ глазахъ Вѣрочки. Развѣ была какая-нибудь возможность вырвать изъ ея памяти мои слова, мой животный, отвратительный порывъ. Я не въ силахъ былъ сдѣлать этого. Одно могло спасти меня—смерть. Мертвымъ все прощается.

Подъ вліяніемъ этихъ чувствъ и мыслей фантазія моя приняла совершенно особое направленіе.

Я сталъ мечтать самымъ непростительнымъ, самымъ ребяческимъ образомъ.

Я скоропостижно умираю. На длинномъ узкомъ столѣ лежитъ мое безпомощное похолодѣвшее тѣло. Примиренный, таинственный, со сложенными на груди руками, я точно сплю. Губы мои загадочно-горько улыбаются, рѣсницы не плотно закрываютъ глазъ.

Вѣрочка рыдаетъ, прижимаясь къ ногамъ моимъ. Непоправимое, неотступное горе безнадежной тоской сжимаетъ ея грудь.

Я не понятъ. Меня не оцѣнили. Она не почувствовала всей глубины моей страсти. И я, потерянный, не въ силахъ былъ жить, не въ силахъ было мое сердце выносить этихъ оскорбленныхъ мукъ, и оно разорвалось... Я погибъ. Она теперь только поняла все это. О, зачѣмъ такъ поздно... Зачѣмъ я оттолкнула его измученнаго, страдающаго... Я убійца его. Это благодаря мнѣ онъ лежитъ на столѣ беззащитный, ненужный. А я буду жить... И ничѣмъ, ничѣмъ, никогда не вернешь прошлаго.

И у меня у самаго начинало щемить въ горлѣ отъ нестерпимой жалости къ самому себѣ. Я все простилъ себѣ, я со всѣмъ примирился и, какъ надъ покойникомъ, безвозвратно ушедшимъ куда-то, готовъ былъ плакать навзрыдъ.

Конечно, здѣсь было много сантиментальности. Но эта сантиментальность была особенная: отъ нея, если позволено будетъ такъ выразиться, попахивало трупомъ.

Въ этомъ-то пунктѣ мой острый стыдъ, мое вконецъ потрясенное самолюбіе, какимъ-то фантастическимъ образомъ соединилось съ моей постоянной мукой, съ моимъ культомъ смерти. И самымъ неожи-

даннымъ образомъ вылилось въ невообразимо уродливую форму. Вылилось почти въ невѣроятную ложь.

Два слова о лжи. Мнѣ иногда приходитъ въ голову, что ложь у насъ опредѣляется слишкомъ формально. Достаточно, чтобы утвержденіе фактически, внѣшне не соотвѣтствовало дѣйствительности, какъ уже оно сейчасъ клеймится словомъ л о ж ь. Что-же тогда по вашему ложь? скажете вы. Не знаю. Можетъ быть тутъ недостатокъ языка человѣческаго, и нужно было-бы изобрѣсти какое-нибудь новое слово, только я положительно увѣренъ, что могутъ существовать такіе случаи, когда, несмотря на явное несоотвѣтствіе утвержденія съ фактомъ, лжи все-таки не будетъ.

Ну вотъ, скажите, была ложь въ томъ, что я сдѣлалъ дальше или нѣтъ?

Въ такомъ «сантиментальномъ» настроеніи проходилъ я до самаго утра. Чего-чего не нафантазировалъ я за эту ночь. Отъ безсонницы и внутренней нервной работы я ослабъ совершенно. Кажется, никогда я такъ реально не ощущалъ, что будетъ, когда я умру. Какъ попрежному будутъ сіять звѣзды, плыть облака, шумѣть лѣсъ, всходить солнце. Я чувствовалъ себя такимъ оставленнымъ, лишнимъ, сиротливымъ, какимъ можетъ быть только покойникъ, забытый и людьми, и землей, и небомъ. Я былъ живой покойникъ. Мнѣ казалось, что я дѣйствительно умеръ и это кто-то другой, близкій, какъ лучшій другъ, и жалѣетъ меня, и плачетъ надо мной.

Могло-ли быть иначе? Ужели человѣческая фантазія способна создавать такія иллюзіи, и воображеніе, мечта, нѣчто несуществующее вызывать такія настоящія, подлинныя человѣческія слезы, которыя неудержимо текли по моему лицу, а я, ослабшій, не въ силахъ былъ ни расплакаться, какъ слѣдуетъ, ни удержать ихъ.

Я не могъ, не долженъ былъ жить, вѣдь это значило, не разрѣшивъ ничего, вновь вернуться къ мукамъ стыда, и къ самымъ жестокимъ мукамъ—мукамъ самолюбія. На это у меня не было силъ. Скоропостижно я не умеръ. Оставалось одно—самоубійство, но я думаю, вы и сами понимаете, что на самоубійство я не способенъ. Господи, вся дѣйствительность, всѣ факты были противъ меня! О, если-бы можно было умереть и потомъ снова начать жить, хоть не долго, хоть нѣсколько дней. За смерть мнѣ все-бы простили, главное, я самъ-бы простилъ себя и проклятая память не жгла-бы меня этими подлыми укусами уязвленнаго самолюбія.

И вотъ не знаю, какъ ужъ это пришло мнѣ въ голову, можетъ быть сила нечистая шепнула, если таковая существуетъ,—только я такъ ясно, такъ ясно, какъ не всегда даже видишь въ дѣйствительности, увидалъ такую картину. Вѣрочка получаетъ телеграмму, распечатываетъ ее и читаетъ: скоропостижно скончался....

Я не могъ идти отъ волненія. Я видѣлъ такъ близко, такъ отчетливо ея лицо, блѣдное, пристыженное... Она торопится, надѣваетъ шляпу, руки ея дрожатъ. Она идетъ ко мнѣ, ей нужно увидѣть меня своими глазами и тогда уже выплакать слезы свои, вымолить прощеніе свое...

Эта картина рѣшила все. Бѣгомъ бросился я по улицѣ, боясь признаться самому себѣ въ томъ, на что я рѣшился. Я чувствовалъ, что если хоть одну секунду подумаю объ этомъ, то, можетъ быть, и не сдѣлаю. Между тѣмъ сдѣлать это необходимо во что-бы-то ни стало. И я бѣжалъ, умышленно заставляя себя думать о другомъ, притворяясь передъ самимъ собой, что случайно иду именно по тѣмъ улицамъ и переулкамъ, куда мнѣ нужно. Но вотъ конецъ. Задыхаясь вхожу я на телеграфъ и, едва владѣя перомъ, начинаю писать. Буквы прыгаютъ въ глазахъ моихъ, я дѣлаю страшное напряженіе и съ трудомъ дописываю до конца.

Въ телеграммѣ, которую я послалъ, значился адресъ Николая Эдуардовича и было написано слѣдующее: «такой-то (стояла моя фамилія) скоропостижно скончался у меня на квартирѣ». И подпись одного нашего общаго знакомаго.

Я едва стоялъ на ногахъ, когда вышелъ съ теле-

графа. Все было кончено. Жребій былъ брошенъ и сразу отлетѣли всѣ мысли, вопросы, сомнѣнья.

Такъ вотъ, солгалъ я или нѣтъ?

— Воистину «странный человѣкъ», скажете вы: да чего-же тутъ спрашивать! Не то что «солгалъ», а совралъ самымъ что ни на есть пакостнымъ образомъ, пишетъ самъ про себя, что скоропостижно скончался, это-ли еще улика, это-ли еще вранье!

Можетъ быть я и странный человѣкъ. Даже навѣрно странный человѣкъ, потому что самъ себя такъ называю,— только все же я глубоко убѣжденъ, что посылая эту телеграмму—не лгалъ. Я, конечно, не знаю, какимъ это словомъ назвать, только тутъ было нѣчто совсѣмъ не то, что должно называться ложью.

Видите-ли, психологически, для самаго себя, по всѣмъ чувствамъ своимъ, я какъ бы дѣйствительно умеръ. Если бы я умеръ и въ то же время я же могъ остаться жить, (чувствую, что нелѣпость выходитъ, и очень хорошо знаю, что въ одно и то же время не можетъ человѣкъ и умереть, и жить, а такъ это говорю, для поясненія), такъ вотъ, если бы другой-то я остался бы живъ, то онъ, оставшійся, именно то же самое испыталъ бы, что и я въ эту ночь.

Теперь я не умеръ, но развѣ отъ этого фактъ мои внутреннія переживанія мѣняются? Фальшь въ томъ, что эти чувства не соотвѣтствуютъ дѣйствительности. Такъ что дѣйствительность лгала, не смѣйтесь пожалуйста, именно дѣйствительность. Въ душѣ моей все до каждой точки такъ, какъ будто бы я умеръ, а я все таки фактически живъ! Вотъ гдѣ ложь. И я заявивъ, что я скоропостижно скончался, если ужъ на то пошло, правду возстанавливалъ, внутреннюю правду между душой моей и дѣйствительностью.

Впрочемъ, все это, конечно, мало убѣдительно, но все-таки я остаюсь при своемъ мнѣніи, и вы во всякомъ случаѣ должны признать, что вопросы о лжи о неискренности—вопросы чрезвычайно сложные, и

часто человѣкъ самъ не въ силахъ отвѣтить по совѣсти: лжетъ онъ или нѣтъ...

По моимъ расчетамъ Николай Эдуардовичъ долженъ былъ получить телеграмму часа черезъ три.

Съ замираніемъ сердца представлялъ я себѣ всю суматоху, которая тамъ поднимется. Николай Эдуардовичъ навѣрно сейчасъ же дастъ знать нѣкоторымъ общимъ друзьямъ. Сколько передумано, перечувствовано будетъ за тѣ нѣсколько десятковъ минутъ, покуда они будутъ считать меня умершимъ. И какая радость, какой восторгъ охватитъ всѣхъ, когда обнаружится, что это чья-то злая, возмутительная шутка. И при одной мысли, что это окажется шуткой, и что я на самомъ дѣлѣ преспокойно живъ,—я чувствовалъ, какъ и меня захватываетъ тоже волна общей радости.

Дерзкая, но до невѣроятности соблазнительная мысль пришла тутъ мнѣ въ голову. Почему бы мнѣ самому приблизительно къ тому же часу не зайти къ нимъ? Вѣдь все равно меня разыщутъ. Зайти, какъ будто бы по дѣлу. Не засталъ, молъ, вчера Николая Эдуардовича и теперь, хоть это мнѣ и непріятно послѣ вчерашняго объясненія, но общественное дѣло прежде всего. Лицо у меня будетъ холодное и серьезное, какъ у человѣка, оскорбленнаго и непонятаго.

Я согласенъ, что здѣсь дерзость доходила до цинизма. Не только обмануть, одурачить, но еще придти и собственными глазами своими посмотрѣть, какъ все это именно произойдетъ. Но одинъ ли цинизмъ былъ тутъ? Можетъ быть мнѣ необходимо было для спасенія своего окунуться въ животворящій потокъ той общей радости, которую я предчувствовалъ?

Какъ бы то ни было ровно въ двѣнадцать часовъ я отправился.

Я былъ возбужденъ, но въ общемъ чувствовалъ себя прекрасно. Что-то молодое, почти незнакомое, а можетъ быть забытое звенѣло во мнѣ и заставляло ускорять и ускорять шагъ.

— Скорѣй бы, скорѣй!.. А вдругъ не получили

еще и получатъ при мнѣ или послѣ меня? Тогда все пропадетъ. Вѣдь необходима хоть минута полной увѣренности въ моей смерти. Не лучше-ли походить, покараулить на улицѣ.... Какъ только телеграмма будетъ получена, разумѣется, онъ немедленно поѣдетъ туда...

Но вдругъ... Нѣтъ, я не въ силахъ передать этой силы внезапнаго впечатлѣнія!.. Горячая кровь хлынула къ вискамъ... Сердце дрогнуло и съ болью остановилось въ груди... ноги похолодѣли и стали чужими...

На лихачѣ, прямо мнѣ навстрѣчу мчался Николай Эдуардовичъ.

Мнѣ бросилась въ глаза его сгорбленная, сжатая фигура, страшное напряженіе блѣднаго, и, казалось, еще больше похудѣвшаго лица, и главное то, что онъ судорожно курилъ папиросу. Я зналъ, что онъ не куритъ.

По какому-то непонятному инстинктивному чувству я отвернулся въ сторону и съ самымъ равнодушнымъ видомъ продолжалъ свой путь. Даже сейчасъ я удивляюсь, какимъ образомъ я смогъ тогда разыграть свою роль! Безъ малѣйшаго усилія, безъ малѣйшей выдумки я сдѣлалъ именно то, что было нужно.

Но я какъ-то сразу почувствовалъ, что онъ меня замѣтилъ. Я услыхалъ, какъ извощикъ останавливалъ лошадь и быстрые шаги Николая Эдуардовича. Я не оглядывался и еще свободнѣе, еще естественнѣе дѣлалъ видъ, что заглядываю въ витрины магазиновъ.

— Постойте... слушайте... неужели.... и Николай Эдуардовичъ крѣпко схватилъ меня за руку. Я оглянулся и—вѣрьте не вѣрьте,—улыбнулся ему, да, улыбнулся самымъ простымъ, привѣтливымъ образомъ, протянулъ свою руку и хотѣлъ было начать самую обыденную, спокойную фразу, которая какъ-то автоматически появилась въ моемъ мозгу. Лучше самаго геніальнѣйшаго актера, увѣряю васъ... Но нервы Николая Эдуардовича не выдержали, онъ какъ-то неестественно зажалъ себѣ ротъ рукой и тянулъ меня за рукавъ сѣсть вмѣстѣ съ нимъ на извощика.

— Разскажу... домой...—задыхаясь говорилъ онъ.

И онъ разсказалъ мнѣ, какъ получили они телеграмму, какъ сейчасъ-же дали знать всѣмъ, кого только успѣли вспомнить, а Николай Эдуардовичъ полетѣлъ туда «совершенно безъ памяти».

— Вѣрочка теперь тамъ разливается,—говорилъ Николай Эдуардовичъ, весь сіяя отъ радости и нервно пожимая мои руки.

— Но кто могъ это сдѣлать,—возмущенно-недоумѣвающе говорилъ я: или это непростительная глупость, или чудовищная подлость!..

И опять таки, смѣйтесь сколько хотите, но клянусь вамъ, я дѣйствительно былъ возмущенъ, и самымъ искреннѣйшимъ образомъ негодовалъ на кого-то. Развѣ не подлость въ самомъ дѣлѣ написать, что я умеръ, я!...

Но Николай Эдуардовичъ, видимо, еще не могъ думать объ этомъ: онъ слишкомъ былъ потрясенъ метаморфозой своихъ чувствъ.

— Я думалъ привидѣніе вижу,—весь сіяя говорилъ онъ: вѣрить не хотѣлъ, смотрю: живой, настоящій вы.—А знаете, какая смѣшная мысль пришла мнѣ въ голову, когда я только что прочиталъ телеграмму, что молъ это васъ Богъ наказалъ за Антихриста, помните, тогда, у Евлампія?...

Я слушалъ его и чувство радости все сильнѣе и неотразимѣе захватывало меня. Я былъ живъ. Я воскресалъ изъ мертвыхъ. И мнѣ разсказывали то, что дѣйствительно было, когда я дѣйствительно лежалъ въ гробу. Даже послѣднія слова Николая Эдуардовича о Евлампіи тогда какъ-то скользнули мимо не задѣвъ меня. Я вспомнилъ ихъ только недавно.

Мы возвратились назадъ къ Николаю Эдуардовичу. Я просидѣлъ тамъ съ часъ. Но за этотъ часъ я пережилъ такую полноту жизни, какой я не пережилъ бы во всю остальную свою жизнь.

Пріѣхали всѣ, кому только дано было знать о моей смерти. Нервно, безпорядочно разсказывали они о своихъ чувствахъ, и всѣ сіяли такъ, какъ могутъ сіять люди, въ буквальномъ смыслѣ пережившіе воскресеніе изъ мертвыхъ своего друга, ибо нѣкоторое время они относились ко мнѣ абсолютно, какъ къ мертвому.

Но кажется больше всѣхъ сіяла Вѣрочка. Я не ошибся въ своихъ предположеніяхъ. За нѣсколько минутъ полной увѣренности въ моей смерти, она дѣйствительно пережила сознаніе своей вины, дѣйствительно поставила въ связь вчерашнее объясненіе съ моей скоропостижной смертью. Я оказался живъ, но впечатлѣнія были такъ сильны, что она продолжала относиться ко мнѣ такъ, какъ будто бы я дѣйствительно умеръ отъ нравственнаго потрясенія. Я это видѣлъ по той застѣнчивой нѣжности, съ которой она ко мнѣ относилась, по тому, какъ вспыхивало лицо ея, когда глаза наши встрѣчались, и наконецъ по тому виноватому выраженію, съ которымъ она смотрѣла на меня. Все возбужденно-нервно радовалось вокругъ меня. Я былъ мертвъ, несомнѣнно мертвъ—и вдругъ сталъ живъ. Я буквально задыхался отъ прилива такой ликующей животной радости, въ которой, казалось, слилась вся привязанность моя къ жизни и весь ужасъ потерять ее. Вѣдь я могъ бы быть мертвъ и телеграмма такая могла бы быть, и даже въ газетахъ напечатали бы... Но ничего этого не случилось, потому что я живъ, живъ, и еще не извѣстно, когда все это произойдетъ. Возможность смерти была такъ близка, что въ сравненіи съ ней когда-то грядущая смерть казалась вовсе не существующей. И едва ли это былъ не единственный моментъ въ моей жизни, когда я абсолютно не боялся смерти.

Умиленный, растроганный, потрясенный въ конецъ ушелъ я отъ нихъ.

Но должно быть этому дню суждено было быть счастливѣйшимъ въ моей жизни.

Придя домой я засталъ письмо отъ Вѣрочки. Изъ него мнѣ стало ясно, что весь мой стыдъ и муки моего самолюбія, были напрасны, ибо письмо она написала, разумѣется, до телеграммы о моей смерти. Форма его можетъ быть и не совсѣмъ литературная, но не буду исправлять и приведу его цѣликомъ въ томъ же видѣ, какъ и въ подлинникѣ:

«Дорогой другъ! Прежде всего я очень прошу васъ, чтобы вы на меня не сердились и не думали, что я на

васъ за что нибудь сержусь. Теперь я постараюсь вамъ объяснить то, что чувствовала вчера. Первое и пожалуй самое сильное чувство,—это была боязнь. Я боялась того, чего-то новаго и мнѣ совершенно незнакомаго, что можетъ встать между нами и разрушить то хорошее, что было прежде. Я не васъ боялась, а того что было въ васъ. Несмотря на то, что я такъ много и читала, и слыхала о любви, то, что было въ васъ, показалось мнѣ такимъ непонятнымъ и такимъ страшнымъ. Можетъ быть это глупо, но это такъ. Я сама какъ слѣдуетъ не могу въ себѣ разобраться, но мнѣ кажется, что я болѣе или менѣе вѣрно опредѣляю свои чувства. Потомъ мнѣ пришла въ голову мысль, что можетъ быть это уже было раньше, въ деревнѣ, подумавъ я, рѣшила, что если вы меня и прежде любили, то почему бы считать мнѣ это дурнымъ. Если между нами будутъ прежнія отношенія, то я чистосердечно признаюсь, мнѣ совершенно все равно, какъ они называются. И если ваши ко мнѣ чувства будутъ выражаться такъ-же, какъ прежде, такъ чего-же намъ еще нужно? Я знаю, я могу казаться очень наивной, но я и на самомъ дѣлѣ совсѣмъ маленькая и съ этимъ ничего не могу подѣлать.

«Но если къ нашимъ отношеніямъ примѣшается что-нибудь другое, то тутъ я вамъ ничего не могу сказать, ни въ чемъ не могу разобраться, ничего не понимаю и ничѣмъ не могу помочь. Вы можете на меня сердиться, можете относиться къ этому, какъ хотите, но я право-же ничего не могу сдѣлать.

«Я иногда бываю ужасно эгоистична, я какъ-то сразу забываю о томъ, что существуютъ другіе люди, которые мучаются и которымъ я немного нужна; я тогда впадаю въ какое-то легкомысленное настроеніе и дѣлаю всякія глупости. Это очень скверно. Я думаю, что это пройдетъ, когда я буду побольше. Но ради Бога повѣрьте, что къ вамъ я отношусь совсѣмъ не легкомысленно и страшно жалѣю васъ и страдаю за васъ. Только одно прошу, не думайте, что я могу сердиться на васъ, и сами не сердитесь на вашу

Вѣру».

VIII.

Новое открытіе.

Моя душевная радость была болѣе чѣмъ кратковременна. Прежній страхъ и прежняя тяжесть вступали въ свои права.

Больше того. Начинались новыя муки и можетъ быть горчайшія, которыя раньше были невозможны. Найденный мною смыслъ жизни не спасалъ меня отъ прежнихъ страданій. Правда, я зналъ теперь, что живу не для того, чтобы сгнить, но все же я жилъ и не для вѣчности. И если моя жизнь была нужна, то въ концѣ концовъ опять таки для той же смерти, чтобы приготовить приходъ ея, приблизить окончательную побѣду въ лицѣ образа Антихриста. Моя радость на первыхъ порахъ слишкомъ была похожа на злорадство

Такимъ образомъ все оставалось по прежнему: мое открытіе не спасало меня, а лишь временно одурманило своей преступностью. Отчетливое же сознаніе, какія именно силы владѣютъ мной, повело къ совершенно новымъ, неожиданнымъ и еще болѣе мучительнымъ послѣдствіямъ.

Я не могъ понять, что со мной дѣлается. Жизнь становилась похожей на картину волшебнаго фонаря. Внесли яркій свѣтъ и тѣни растаяли, нѣжные контуры исчезли—остались грубыя, рѣзкія черты, и хоть картина все та-же, но значеніе ея становилось другимъ. Жизнь уплывала съ поля моего зрѣнія. Что-то уродливое, но знакомое и странное все яснѣе и яснѣе выступало взамѣнъ нея. И наконецъ я понялъ все: за обычной безтолковой стремительностью жизни я чувствовалъ и видѣлъ т о г о, кому невидимо служатъ и

наука, и искусство, и вся жизнь, что съ каждымъ часомъ растетъ, какъ чудовищная личинка въ тѣлѣ человѣчества, готовая явить себя міру и безпощадно раздавить весь этотъ муравейникъ, именуемый народами и государствами.

Мнѣ стало ясно, что во всемъ, что было вокругъ меня, я воспринимаю лишь тотъ же духъ грядущаго Антихриста, который жилъ во мнѣ.

Мнѣ очень трудно передать вамъ, въ чемъ заключалась разница и мука тѣхъ новыхъ воспріятій жизни, которыя открылись мнѣ въ идеѣ Антихриста. Для этого вы ясно должны представить себѣ, какъ смотрѣлъ я на жизнь до своей вѣры въ Антихриста.

Я не знаю, можетъ быть для тѣхъ безумцевъ, которые вѣрятъ въ Христа, жизнь кажется очень странной, научная дѣятельность для чего-то нужной, а искусство прекраснымъ и великимъ. Но для человѣка трезваго тутъ все представляется иначе.

Я увѣренъ, что вы готовы воскликнуть: это вы-то трезвый человѣкъ?! Со всякими страхами, съ маніей преслѣдованія и маніей величія, несчастный больной, вообразившій себя Антихристомъ! Да вы или въ самомъ дѣлѣ больной, или мистикъ отчаяннѣйшій!

Но вы жестоко ошибаетесь,—я именно не мистикъ. И въ этомъ можетъ быть самое мое большое несчастіе. Я матеріалистъ до мозга костей и самый крайній эмпирикъ, судящій всегда по себѣ и признающій лишь одну истину,—истину, которую даетъ опытъ, да еще не всякій опытъ, а именнно мой собственный.

Подъ словомъ т р е з в ы й я разумѣю именно такого человѣка, который наконецъ освободился отъ суевѣрія, что дѣятельность человѣческая зачѣмъ-то нужна, и очнулся отъ гипноза, во время котораго какіе-то сумасшедшіе внушали все время человѣку, что силы въ немъ необъятныя, что кого-то онъ побѣдитъ, что-то сокрушитъ, вообще сотворитъ что-то необычайное. Все это вздоръ. Отъ всего этого надо отрѣшиться и сознать, что вся кипучая дѣятельность, вся лихорадка, вся изобрѣтательность XIX вѣка и все тому подобное, принимаемое за прогрессъ въ какомъ-то туманно-иде-

альномъ смыслѣ, есть ничто иное, какъ стихійное, стремительное бѣгство барановъ къ пропасти, чтобы скорѣе, какъ можно скорѣе, самымъ передовымъ образомъ упасть въ пропасть и разбиться въ дребезги.

Вотъ вы теперь и отбросьте Антихриста и разсмотрите жизнь, подобно большинству людей, какъ нѣчто самостоятельное, чѣмъ можно и должно гордиться, тогда вы сразу увидите, что измѣняетъ вѣра въ Антихриста.

Только вы хоть на одинъ моментъ напрягитесь всѣми силами своими и сбросьте съ себя предразсудки, впитанные съ молокомъ матери и вбитые всѣмъ укладомъ нашей жизни.

Какъ же въ самомъ дѣлѣ не поморщиться вамъ отъ нетерпѣнія, если я заявлю: ни наука, ни философія, ни искусство за всѣ тысячелѣтія ровно ничего не дали человѣчеству. Не думайте, что я разумѣю тутъ что-нибудь «иносказательное», какую-нибудь толстовскую мысль, что, молъ, все это не способствовало личному самоусовершенствованію. Нѣтъ,—можетъ быть и способствовало, я ужъ этого самъ не знаю,—только что, по моему, наука, философія и искусство и всѣ иныя области дѣятельности человѣческой ничего людямъ не дали въ самомъ прямомъ и подлинномъ смыслѣ этихъ словъ. А ужъ если хотите говорить про самоусовершенствованіе, то и оно тоже ничего человѣчеству не дало.

Еще разъ имѣйте въ виду, что мы разсуждаемъ съ вами покуда, какъ трезвые матеріалисты, *невѣрующіе* въ Антихриста.

Такъ позвольте васъ спросить, что дала человѣчеству наука. Сначало безъ прикладной своей части. Наука для науки. Ну узнали вы, что формула куринаго бѣлка C_{204} H_{322} N_{52} O_{8} S_{2}, а бѣлка собачьяго гэмоглобина C_{726} H_{1171} N_{194} O_{214} S_{3}; что порода Лакколитовъ относится къ концу третичнаго періода, а зеленоватый хлоритовый гнейсъ и гнейсовый сланецъ можно считать представителемъ силлурійскихъ образованій. Что капиталомъ называется: «результатъ предыдущаго труда, направленный къ дальнѣйшему производству», а трудъ «есть мѣрило всѣхъ цѣнностей, но самъ онъ не имѣетъ никакой цѣны»...

Согласенъ—все это вещи можетъ быть и любопытныя, но какой въ нихъ толкъ трезвому человѣку?

Такъ вотъ вы и отвѣтьте, зачѣмъ вамъ знать формулу куринаго бѣлка? На этотъ вопросъ, кромѣ отвѣта чисто женскаго, что, молъ, «такъ»!—я увѣренъ, вы ничего не сможете сказать. Особенно, если вы «ученый»; «ученые» на вопросъ, ребромъ поставленный, никогда ничего не отвѣчаютъ. Я не могу считать за отвѣтъ напыщенныя фразы о величіи науки: мой умъ этимъ не удовлетворяется.

— Ну положимъ,—скажете вы: наука для науки можетъ *казаться* безплодною, но практическаго ея примѣненія, послѣ блестящихъ открытій XIX вѣка ужъ, конечно, не будете вы отрицать!

Буду, увѣряю васъ. И если вы дѣйствительно отъ гипноза очнулись, вы и спорить со мною не станете. Я просто приведу вамъ маленькую аналогію.

Случалось ли вамъ когда-нибудь видѣть похороны военныхъ генераловъ? Несутъ въ роскошномъ гробѣ разлагающееся мясо его превосходительства, а впереди на подушкахъ ордена... Если вы видѣли когда-нибудь такую сцену, то неужели, глядя на побрякушки, которыя, словно въ насмѣшку надъ жизнью человѣческой, несутъ *впереди* гроба; неужели, глядя на это, вы никогда не думали: все, что дается жизнью для тридцатилѣтняго нашего существованія, въ отношеніи гроба нашего есть ничто иное, какъ такія же жалкія регаліи.

Такъ вотъ, какъ бы вы не называли всѣ ваши машины «блестящими завоеваніями XIX вѣка», я утверждаю, что все это не больше, какъ блестящіе ордена на подушкѣ, которые несутъ съ комической важностью «ученые» впереди разлагающагося тѣла человѣчества.

— Но позвольте,—раздраженно скажете вы: не станете вы отрицать по крайней мѣрѣ того, что наука обосновала соціализмъ! И такимъ образомъ на *научныхъ* основаніяхъ воздвигнутъ тотъ идеалъ человѣ-

ческой жизни, къ которому всѣ должны стремиться.

Признаюсь, къ соціализму я отношусь съ отвращеніемъ по преимуществу. Ибо ваши машины, ваши научныя открытія — все это обманъ, обманъ грубый и явный, не трудно увидать, что все это «суета суетъ»,— ну, а соціализмъ это обманъ ловкій, со всѣми внѣшними признаками правды. Вѣра въ машины покупается на деньги эгоизма: вѣрь, молъ, что въ машинахъ великій міровой смыслъ, а мы за это тебя по желѣзнымъ дорогамъ возить будемъ. Здѣсь не то, — здѣсь говорятъ: вѣрь въ то, что соціалистическій строй наступитъ и что онъ дѣйствительно зачѣмъ то нуженъ, а пока что... заплати намъ же самопожертвованіемъ!

Помните извѣстную каррикатуру, изображающую соціалистическій строй: рядъ одинаковыхъ стойлъ, въ каждомъ стойлѣ стоитъ одинаковая свинья и ѣстъ одинаковую порцію. Очень, очень злая и очень мѣткая каррикатура: кушайте, молъ, поровну! Это ли еще не всемірное счастье, не блестящій апофеозъ блестящей человѣческой исторіи; такъ сказать, корона на главу царя природы!

Я могу казаться несправедливымъ. Вѣдь въ самомъ дѣлѣ, развѣ соціализмомъ не руководятъ добрыя чувства. Развѣ не страданія и слезы милліоновъ людей направляютъ соціалистическое движеніе. И, наконецъ, развѣ только затѣмъ долженъ наступить соціалистическій строй, чтобы всѣмъ поровну кушать было? Для соціализма это первая необходимая ступень, чтобы милліоны полузвѣрей обратились въ людей, и тогда-то начнется самое настоящее, всѣ будутъ наслаждаться искусствомъ, всѣ будутъ развивать свои духовныя потребности, — словомъ теперь живутъ для хлѣба, тогда начнутъ жить для человѣка.

Очень хорошо. Но мое отношеніе къ этой «первой» ступени отъ такихъ заманчивыхъ перспективъ нисколько не мѣняется. Мнѣ говорятъ: тогда получатъ возможность дѣлать все то, что сейчасъ доступно немногимъ счастливцамъ. Я на это отвѣчаю: то, что дѣлаютъ эти немногіе счастливцы, такъ же безсмысленно и ненужно, какъ безсмысленно и ненужно то,

что дѣлаютъ милліоны несчастныхъ. А потому, если и всѣ начнутъ дѣлать то же ненужное дѣло, которое теперь дѣлаютъ нѣкоторые (я разумѣю развитіе духовныхъ богатствъ), — то отъ этого ничего не измѣнится. Потому и ступень эту первую, которая ведетъ всѣхъ къ той же глупости, которой уже достигли нѣкоторые,—я считаю непростительнымъ, гнуснѣйшимъ обманомъ.

Но можетъ быть философія была счастливѣе и за многія тысячи лѣтъ своего существованія сдѣлала больше?

Вѣдь вы тоже матеріалистъ, хотя и невѣрующій въ Антихриста, а потому разговоръ о философіи у насъ будетъ кратокъ и вы врядъ ли станете защищать ее.

Что, въ самомъ дѣлѣ, можетъ быть нелѣпѣе философіи, которая нѣсколько тысячелѣтій «разрабатываетъ» самые что ни на есть жгучіе вопросы—вопросы о смыслѣ жизни и о томъ, что такое человѣкъ—и за всѣ тысячелѣтія ничего умнѣе не выдумала кромѣ того, что «бытіе не есть бытіе чего-нибудь, а потому бытіе есть ничто»!.. Вотъ белиберда, въ которой вся сущность философіи, изобрѣсти которую были призваны, такъ называемые, геніи: Платонъ, Аристотель, Декартъ, Кантъ, Гегель и т. д.

Объ искусствѣ распространяться нечего. Вы, какъ матеріалистъ, понимаете, что оно есть ничто иное, какъ отраженіе жизни,—но очевидно, если не нужна наша жизнь, то тѣмъ болѣе ни на что не нужно ея отраженіе.

Вотъ-съ какъ долженъ разсуждать невѣрующій трезвый человѣкъ. Я именно такъ и разсуждалъ прежде. Жизнь для меня была сплошнымъ мучительнымъ хаосомъ безъ всякаго назначенія и смысла; культура, созданная такими усиліями и жертвами, жалкою и смѣшной, а люди спѣшащіе въ теченіи несчастныхъ 25—30 лѣтъ, которые имъ бросила природа, натворить какъ можно больше всяческой пользы, неизвѣстно зачѣмъ и для кого нужной,—всегда вызывали во мнѣ презрѣніе и злость.

Мой Антихристъ раскрылъ мнѣ глаза. Я зналъ теперь, зачѣмъ все это нужно. Я понялъ великій смыслъ и науки, и философіи, и искусства. Оставаясь матеріалистомъ, но узнавъ Антихриста, я уже понималъ, что ребяческое упорство идти противъ очевидности и объяснять великое значеніе жизни фразерствомъ, недостойно трезваго человѣка.

Значеніе науки страшно важно. Нужно скорѣе, какъ можно скорѣе, всю природу осмотрѣть въ микроскопъ; все взвѣсить, все измѣрить, всю ее ощупать и отпрепарировать. Философствовать еще болѣе того необходимо, чтобы до мельчайшихъ черточекъ узнать силы, способности нашего разума, чтобы все, что только доступно намъ о насъ самихъ, все это документальнѣйшимъ образомъ обосновать, въ систему возвести. Искусство тоже важно, чтобы человѣческая жизнь вся, какъ на ладошкѣ, была для всѣхъ ясна.

И все это нужно, и все это страшно важно, все это дѣйствительно имѣетъ громадное, міровое значеніе и человѣчество дѣйствительно уже многое на пути этомъ сдѣлало,—и все это для того, чтобы, извините за выраженіе, стукнуться объ стѣну лбомъ.

Вы недоумѣваете? Да, я благоговѣю передъ наукой за то, что она ощупаетъ все до конца и скажетъ: все это очень просто, все это «комбинація атомовъ». Я обожаю философію за то, что она причудливѣйшими изворотами ума наконецъ все испробуетъ и скажетъ: умъ нашъ самая несовершенная машина изъ всѣхъ существующихъ. А передъ искусствомъ я благоговѣю потому, что оно отразитъ все это въ громадной, душу потрясающей картинѣ и всѣмъ сразу передастъ то отчаяніе, которое переживутъ немногіе.

И тогда... тогда весь міръ упрется въ стѣну. Ужъ никакихъ вопросовъ не останется, и для послѣдняго ребеночка станетъ ясно, что дальше с т ѣ н а.

Вотъ то новое—то, что съ небывалой силой начинало меня мучить и заключалось въ ощущеніи этой стѣны. Всюду, въ каждомъ ничтожномъ явленіи, я чувствовалъ ея близость. Первое время, я долженъ признаться, меня занимало это новое чувство. Мнѣ доставляло какое-то ребяческое удовольствіе видѣть, какъ двое какихъ-нибудь прохожихъ спорили, горячась и жестикулируя. Мнѣ казалось вотъ, вотъ сейчасъ они обязательно упрутся въ стѣну и, растерянные, жалкіе, опустивъ руки, будутъ смотрѣть другъ другу въ глаза, не въ силахъ выговорить слова...

На публичныхъ лекціяхъ, когда какой-нибудь ученый мужъ, съ взъерошенными волосами и развязными движеніями говорилъ съ нахальной смѣлостью: «господа, въ этомъ явленіи нѣтъ ничего необычайнаго,— это п р о с т о гипнотизмъ»... я чувствовалъ, что онъ вотъ-вотъ упрется въ стѣну и вмѣсто того, чтобы продолжать лекцію, жалко улыбнется и какъ виноватый скажетъ:

— Господа, какъ же это?...

Когда я получалъ толстые журналы и начиналъ читать озабоченно-дѣловитыя статьи о томъ, сколько масла было вывезено въ Англію за 19*** годъ, для меня не подлежало никакому сомнѣнію, что насчетъ масла это «такъ себѣ», а самое важное, что даже неприлично въ журналѣ писать, да и чего авторъ можетъ быть самъ еще не сознаетъ,—самое важное это то, что еще немного, еще маленькое усиліе и онъ достанетъ наконецъ лбомъ такъ долго желанную стѣну...

И я былъ доволенъ. Меня занимало, что за пестрымъ калейдоскопомъ жизни я вижу неподвижную, мрачную стѣну, къ которой всѣ такъ стремительно несутся.

Но очень быстро эта постоянная стѣна передъ глазами, каждое движеніе собой сопровождающая, начала мучить и самого давить своей тяжестью. Хотѣлось хоть на мигъ освободиться отъ нея. Но напрасно, стѣна выплывала, какъ привидѣніе, рѣшительно изъ каждой мелочи и отъ нея вѣяло на меня духомъ Антихриста.

По ночамъ я внезапно просыпался и воображеніе мое быстро, быстро начинало работать, картины одна за другой, какъ вихрь неслись передо мной, хотя я дѣлалъ невѣроятныя усилія остановиться, чтобы размышлять не торопясь и не волнуясь.

Все, что дѣлается на землѣ, мнѣ хотѣлось представить и охватить разомъ, со всѣми мельчайшими, неуловимѣйшими подробностями,—во всѣхъ странахъ, у всѣхъ народовъ, и въ дикихъ лѣсахъ, и въ знойныхъ пустыняхъ. Напряженіе становилось выше физическихъ силъ. Холодный, больной потъ выступалъ на лбу. И я чувствовалъ, что вся жизнь, каждое дыханіе человѣческое, начиная съ якута, въ полузабытьи спящаго у костра, кончая сладкимъ шепотомъ влюбленныхъ гдѣ-нибудь на-берегу южнаго моря, все, какимъ-то чудеснымъ образомъ, дѣйствительно начинаетъ отражаться въ моемъ сердцѣ, и что я принимаю въ душу свою всю силу живущаго въ мірѣ Антихриста, и почти теряя сознаніе отъ потрясенья, впадалъ въ полусонъ, съ тѣмъ, чтобы черезъ часъ снова проснуться отъ какого-то внезапнаго толчка и снова до изнеможенія думать, думать и думать...

Съ каждымъ днемъ, можно сказать, съ каждымъ часомъ, я все сильнѣе ощущалъ, что внѣ меня невидимо разлита во вселенной та-же тяжесть, та-же мучительная тоска, то-же дыханіе смерти, что и во мнѣ самомъ.

А внутри меня все торопливѣе и торопливѣе шла какая-то работа.

Не только мысли мои, мое воображеніе, болѣзненно ускоряли свою дѣятельность, до мучительной торопливости, съ которой я не въ силахъ былъ справиться,—эта же торопливость переходила въ дѣйствія. Я не могъ просидѣть двухъ минутъ на одномъ мѣстѣ, не двигаясь и не торопясь куда-то. Меня тянуло все впередъ и вперецъ. Я до изнеможенія ходилъ по улицамъ безъ всякой видимой цѣли, обезсиливая, съ тоской необычайной, съ нервами въ конецъ натянутыми, но лишенный воли не идти, не торопиться, отдохнуть, задержать волей своей ту чудовищную стремительность, которая толкала меня впередъ.

— Вотъ еще до той только витринки дойду, посмотрю, что тамъ, и тогда уже домой пойду,—говорилъ я себѣ.

Я доходилъ до витрины какого-нибудь чулочнаго магазина, а спѣхъ мой отъ этого только разжигался. Я дѣлалъ видъ, что совсѣмъ не о той витринѣ говорилъ, и стремительно ускорялъ свой шагъ.

Приходя домой въ тихую комнату, я, казалось, успокаивался; слабость разливалась по всѣмъ членамъ, сладкая истома туманила глаза, хотѣлось спать... Но все это разомъ, по мановенію исчезало—я судорожно хватался за шляпу, насилу удерживался, чтобы снова не бѣжать на улицу и, несмотря на усталость и совершенное нежеланіе свое двигаться, начиналъ, все ускоряя и ускоряя шагъ, ходить изъ угла въ уголъ своей маленькой комнаты, пока головокруженіе не сваливало на кровать. Но даже въ самомъ головокруженіи моемъ проклятая торопливость не оставляла меня, и, какъ въ полуснѣ, въ мозгу моемъ неслись клочки пережитыхъ впечатлѣній, и я, изнемогая совершенно, чувствуя себя больнымъ и разбитымъ, безпомощно отдавался ихъ власти.

Ночи проводилъ я, какъ въ лихорадкѣ, - теряя грань между сномъ и дѣйствительностью,—а утромъ, притворяясь, что иду за хлѣбомъ, спѣшно надѣвалъ пальто, и на цѣлый день начиналось тоже.

Каждый разъ мнѣ казалось, что дальше такъ нельзя, что еще хоть на іоту усилится во мнѣ это чувство, и я сойду съ ума. Но торопливость еще ускорялась, я это ощущалъ ясно, и все-таки съ ума не сходилъ, только руки мои начинали непріятно трястись, и на голову словно кто-то паутину накладывалъ.

Я не знаю, чѣмъ бы это наконецъ кончилось, но одно незначительное происшествіе придало всему совершенно неожиданный оборотъ.

IX.

Антихристъ—въ роли спасителя отечества.

Рядомъ съ моей комнатой, за стѣнкой жила какая-то прачка съ маленькой худенькой дѣвочкой Катей.

Я не люблю дѣтей, меня раздражаетъ ихъ тупая, животная беззаботность. Меня нисколько не умиляетъ, когда какой-нибудь пятилѣтній малышъ преспокойно расправляетъ у мертвеца пальцы и смѣется, что они не двигаются.

Терпѣть не могъ я и Катю. Она, должно быть, инстинктомъ чуя, тоже меня боялась.

Въ моей комнатѣ было слышно все, что дѣлалось за стѣной. Меня это не раздражало. Я не могъ равнодушно слышать только Катинъ смѣхъ. Но она, правду сказать, смѣялась рѣдко.

Однажды вечеромъ, измученный до послѣдней степени своей проклятой нервной бѣготней по улицамъ, я лежалъ на постели, казалось, неспособный ни на какое чувство.

За стѣнкой происходило что-то необыкновенное.

— Папка, дай карандашъ,—плачущимъ голосомъ говорила Катя.

— Дура,—запинаясь, хрипѣлъ въ отвѣтъ мужской голосъ:—такъ развѣ просятъ, спроси, какъ слѣдуетъ: папочка, молъ, скажите, пожалуйста, вы не знаете, гдѣ мой карандашикъ?

Катя заплакала.

Облокотившись на локоть, я сталъ вслушиваться. Въ слезахъ есть большой соблазнъ. Подмываетъ этакъ поприбавить еще обиды, чтобы все тѣло, каждая жилка бы трепетала отъ неудержимаго горя. Меня разжигало тяжелое, непреодолимое чувство, убійственное, какъ ядъ. Мнѣ и жалко было ее, увѣряю, жалко было до слезъ за такое издѣвательство надъ ней, но вмѣстѣ съ тѣмъ жадно хотѣлось, чтобы за стѣной совершилось что-нибудь еще грязнѣе, еще безчеловѣчнѣе.

— Скажи, скажи, переломи себя,—раздраженно приставалъ отецъ.

— Ну скажи, Катя,—проговорилъ слабый женскій голосъ.

— Развѣ она скажетъ... Три года жили однѣ, дѣлали, что хотѣли... У проклятая!—крикнулъ онъ, сразу приходя въ ярость:—дьяволы, переломи, говорю себя!.. Не хочешь, не хочешь!..

Судорога тѣснила мнѣ грудь. Зубъ на зубъ не попадалъ отъ лихорадочной дрожи. Я почти не владѣлъ собой.

— Еще!.. Еще!..—обезумѣвъ шепталъ я, чувствуя, что еще одно слово, одно движеніе за стѣной, и я упаду въ обморокъ.

— Не хочешь,—уже съ какимъ-то злорадствомъ хрипѣлъ за стѣной голосъ.

— Папка... я... я не буду... папка,—торопливо залепетала дѣвочка.

— Нѣтъ, врешь теперь... Разъ, два... разъ, два...

Едва внятные удары по голому тѣлу долетѣли до моего сознанія. Въ исступленіи рванулся я съ постели и вбѣжалъ туда...

Высокій рыжій мужчина держалъ трепетавшую отъ страха и слезъ Катю, зажавъ колѣнями, и со всего размаха билъ то по одной, то по другой щекѣ.

— Не смѣйте, слышите... Я васъ задушу!..—въ бѣшенствѣ крикнулъ я, выхвативъ дѣвочку за руку.

Высокій мужчина всталъ, улыбнулся и заморгалъ глазами.

— Я собственно для ея же пользы,—пробормоталъ онъ:—потому три года ..

Но я уже не слыхалъ его... Я бросился вонъ на

улицу. Безъ памяти перебѣжалъ нѣсколько разъ съ одной стороны на другую. Черта была уничтожена. Все во мнѣ было само по себѣ. Я сознавалъ одно: надо уйти! Куда-нибудь, какъ-нибудь, неизвѣстно зачѣмъ, но уйти, уйти, во что бы то ни стало! Въ совершенномъ изступленіи, задыхаясь отъ нервныхъ спазмъ, самъ не зная куда, летѣлъ я по тусклымъ туманнымъ улицамъ. Мерещилась холодная, безстрастная рѣка, съ суровыми полузастывшими волнами; вѣчное безмолвіе, страшное упокоеніе. Безстрашный образъ съ дьявольской силой притягивалъ къ себѣ и предчувствіемъ покоя наполнялъ мою грудь...

Вдругъ почти лицомъ къ лицу я столкнулся съ Родіоновымъ, это былъ мой товарищъ по университету, болгаринъ.

— Здравствуйте,—сказалъ онъ, крѣпко стиснувъ мою руку.

— Да, да, здравствуйте,—пробормоталъ я, рванувшись дальше.

Но онъ удержалъ меня.

Почему я его встрѣтилъ? Именно его и при такихъ обстоятельствахъ?

Глупый вопросъ, скажете вы: случайность и больше ничего. А что такое случайность? Видите ли, я не то, что фаталистъ, но иногда, когда что-нибудь совершается очень неожиданное, совсѣмъ что ни на есть случайное, мнѣ начинаетъ казаться, что это не случайность какая-то тамъ, а именно то самое, что должно было случиться, что я даже зналъ, что это случится, и что все, что я затѣмъ дѣлаю, ужъ не я дѣлаю, а такъ, какъ тому положено быть.

— Странная встрѣча,—нервно усмѣхаясь сказалъ я.

Встрѣча дѣйствительно была какая-то необычайная. У меня даже мелькнула мысль: не галлюцинація-ли это?

— Странная встрѣча,—снова повторилъ я, пугаясь своего голоса, и чувствуя, что на глазахъ моихъ выступаютъ холодныя слезы.

— На васъ лица нѣтъ,—шопотомъ сказалъ Родіоновъ, не выпуская мою руку.

— Я не здоровъ, но и вы... васъ узнать нельзя.

Къ величайшему моему изумленію нижняя челюсть его начала вздрагивать, глаза стали странно-узкими, и звукъ, похожій на сдавленный смѣхъ, шипя вырвался изъ его груди.

— Позвольте, вы разстроены... можетъ быть хотите пройтись,—забормоталъ я.

Но онъ, не двигаясь съ мѣста, и видимо дѣлая страшныя усилія овладѣть собой, совершенно чужимъ голосомъ сказалъ:

— Я сейчасъ получилъ письмо... мой братъ, помните, Георгій, убитъ въ Македоніи турками.

Ни одинъ нервъ не дрогнулъ во мнѣ. Словно все это было именно такъ, какъ я ожидалъ. И совершенно для себя неожиданно, какъ заводная кукла, я проговорилъ:

— На дняхъ я тоже ѣду въ Македонію.

Родіоновъ вскинулъ на меня глаза, схватилъ за плечи и что-то хотѣлъ сказать, но не могъ.

— Знаете, заходите завтра ко мнѣ,—сказалъ я.

Его присутствіе тяготило меня. Мнѣ нужно было остаться одному.

— Хорошо.

Онъ тиснулъ мою руку и исчезъ такъ же быстро, какъ и появился.

Встрѣча съ Родіоновымъ совершенно потрясла меня. Георгій, задумчивый, нѣжный, съ лучистымъ взглядомъ, убитъ! Сколько невыносимаго, безобразнаго содержанія въ этомъ словѣ. Схватили за горло. Прижали колѣнкой въ животъ и всунули, какъ въ рыхлую землю, ножъ въ живое мясо. И ужасъ, и боль, и отчаяніе! А въ послѣднюю секунду, въ послѣднюю терцію чего-то такого, что называется «жизнь», мелькнула навѣрное мысль о родной семьѣ, о теплой знакомой комнатѣ, письменномъ столѣ съ полуразбитой чернильницей, которую подарилъ братъ Коля... и турокъ ничего этого не чувствуетъ, не знаетъ... темно и... смерть!

О, это проклятое, гнусное слово, всякій разъ, когда оно мелькаетъ въ моемъ мозгу, мнѣ кажется, что я и сотой доли не выразилъ того, какъ боюсь и ненавижу его. И вдругъ я ѣду въ Македонію, бороться за чью-то чужую свободу! Я, отдающій свою жизнь за счастье другихъ, я въ роли спасителя отечества, что можетъ быть смѣшнѣе и нелѣпѣе этого?

Если вы спросите меня, съ чего я выдумалъ эту новую ложь, я не отвѣчу вамъ. Мнѣ, при всей моей откровенности, часто немыслимо бываетъ отвѣтить на вопросъ. Не думайте, что тутъ какая-нибудь безсознательная психологія, или что-нибудь въ этомъ родѣ. Просто, можно сказать, никакой нѣтъ психологіи. Сплошь и рядомъ я выпаливаю совершенно неожиданныя вещи буквально, какъ автоматъ, и только потомъ соображаю настоящій ихъ смыслъ и значеніе.

Не разъ со мной бывали такіе случаи: идешь по улицѣ, вдругъ кто-нибудь спроситъ: скажите пожалуйста, какъ пройти на такую-то улицу.

— Это вамъ налѣво,—предупредительно и неожиданно для себя говорю я; и въ то же время чувствую, что дѣлаю какую-то нелѣпость, потому что улица, о которой меня спрашиваютъ, совершенно мнѣ неизвѣстна.

Нѣчто подобное случилось и съ Македоніей. Клянусь, у меня не было никакихъ, ни злыхъ, ни добрыхъ намѣреній сказать эту ложь. Сказалъ, а зачѣмъ, почему, не знаю!

И всетаки... всетаки въ Македонію я поѣхалъ!

Выдумка, фантазія, литературные эффекты! О, господа, я вмѣстѣ съ вами въ безумномъ весельи сталъ бы хохотать надъ собой, если бы это было такъ. Но я странный, очень странный, необычайно странный человѣкъ, и это со мной случилось. Я самъ спѣшу согласиться, что это почти неправдоподобный случай, п о ч т и гнусная выдумка, но все проклятіе-то и заключается въ этомъ маленькомъ словечкѣ „почти“. Оно невидимо, какъ паразитъ, прилѣпляется къ каждому человѣческому слову.

А кто намъ поручится,—скажете вы,—что все

сейчасъ здѣсь написанное правда? Если вы такой странный человѣкъ, вы, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ все это врете, такъ себѣ, сами не знаете зачѣмъ?

Если бы вы сейчасъ видѣли мое лицо, то вы знали бы, что я тоже смѣюсь вмѣстѣ съ вами, потому что такая мысль очень, очень смѣшна и совсѣмъ даже не обидна...

Но буду разсказывать по порядку.

Не прошло и получасу, какъ я совершенно незамѣтно для себя очутился въ Македоніи, съ отрядомъ инсургентовъ. Чудеса храбрости совершаетъ нашъ отрядъ, а я всюду первый, у всѣхъ на виду, пули свищутъ вокругъ меня, но я неустрашимо мчусь впередъ, и турки бросаются въ разсыпную...

Человѣческая душа, представляетъ изъ себя самый возмутительный сумбуръ. Я тутъ же умудрялся воображать себя и туркомъ к о т о р ы й врывается въ болгарскую деревню, загоняетъ всѣхъ женщинъ въ церковь, и начинается потѣха. Говорю это между прочимъ, для курьеза.

А главное—возвращеніе въ Москву: разговоры, разспросы и то высшее уваженіе, которое всегда чувствуется само собой въ тонѣ голоса, которымъ говорятъ, въ выраженіи глазъ, которыми на тебя смотрятъ.

— Странное впечатлѣніе производитъ свистящій звукъ пули, буду разсказывать я: впечатлѣніе какой-то тоски, не то это въ тебѣ, не то около тебя, и такъ жалко, жалко дѣлается чего-то.

И я задумаюсь, точно вспоминая, и всѣ задумаются.

— Теперь я только узналъ окончательно,—тихо скажу я:—что христіанство дѣйствительно спасаетъ отъ страха смерти. Раньше я былъ увѣренъ въ этомъ безъ опыта, но теперь, положа руку на сердце, могу сказать, что ни малѣйшаго страха не испыталъ я, несмотря на полное сознаніе того, что достаточно на вершокъ взять вправо и пуля попадетъ въ сердце.

И снова всѣ задумаются, и жутко станетъ за прошлое, и радостно, что ничего такого не случилось, и я герой, такъ просто говорящій о своихъ подвигахъ, снова среди своихъ друзей.

Мечты были такъ соблазнительны, такъ реальны, что невольно вставалъ вопросъ: почему бы не поѣхать?

Я сейчасъ же предвижу ваше недовѣрчивое замѣчаніе: какимъ же образомъ, при вашей боязни смерти, вамъ могло придти въ голову не въ мечтахъ, а въ дѣйствительности, ѣхать туда, гдѣ свищутъ пули?

Ваше замѣчаніе совершенно справедливо, и, какъ всегда, мое единственное оправданіе въ томъ, что я странный человѣкъ.

Видите ли, мечтая сначала, какъ о чемъ-то совершенно несбыточномъ, а потомъ задавъ себѣ вопросъ, почему бы этому и не быть, я ни одной минуты не сомнѣвался въ томъ, что ни малѣйшей опасности себя не подвергну. Я не зналъ, какъ именно все это сдѣлаю, какъ я умудрюсь съѣздить въ Македонію и вернуться оттуда героемъ, ни разу не подвергнувшись опасности, но я внутренне уже рѣшилъ, что это какъ-то возможно, что я все это сдѣлаю. Мнѣ даже думать не хотѣлось, какъ именно все это я устрою. Даже больше: такія мелочи способны были лишь расхолодить меня.

Такимъ образомъ, опасность меня не пугала нисколько. Но что, кромѣ этого, могло удерживать меня дома? Ничего. Даже больше, такая поѣздка меня выбрасывала изъ колеи, а это опять таки для меня было одно изъ необходимыхъ условій, чтобы выйти изъ того ужаснаго психическаго состоянія, въ которомъ я находился послѣдніе дни.

Я зналъ, что черезъ Родіонова, дня въ три, всѣ мои знакомые узнаютъ о моемъ отъѣздѣ. Мысленно я не говорилъ себѣ: я ѣду, но очень хорошо чувствовалъ, что вопросъ рѣшенъ, и что все сдѣлается само собой.

Когда теперь я вспоминаю то время и всю эту странную до нелѣпости поѣздку, мнѣ страшно хочется узнать, случалось ли и съ другими что-нибудь подобное? Во мнѣ многое есть такое, что, я увѣренъ, не есть мое исключительное достояніе. Но вотъ насчетъ этого я не знаю.

Не думайте, что это праздное любопытство. Знаете, я увѣренъ, что въ такихъ фактахъ больше всего выражалась моя «трупная» психологія: нужно совершенно потерять всякую жизнь, чтобы какія-то силы могли такъ качать изъ стороны въ сторону человѣческую личность. Вотъ я и хотѣлъ бы знать—ведетъ ли трезвость взглядовъ къ такому безумному качанью всякаго? Если да, то Боже, какой хаосъ ожидаетъ жизнь въ недалекомъ будущемъ, даже думать смѣшно!

X.

Что такое любовь?

Я очень хорошо помню лицо Вѣрочки, когда она отворила дверь и почти шопотомъ сказала, не глядя на меня:

— Здравствуйте.

Она уже слышала о моемъ отъѣздѣ. Я это зналъ и пришелъ съ ней попрощаться.

Я разскажу вамъ, какъ умѣю о томъ, что произошло въ этотъ памятный вечеръ,—но сумѣю ли передать самое важное, вскрыть самую главную черту того, что произошло,—этого я не знаю. Вообще, чѣмъ глубже я вникаю въ самого себя, тѣмъ яснѣе чувствую всю неуловимость самыхъ основныхъ началъ психической жизни. Остается говорить о фактахъ жизни, а чуть захочешь заговорить объ ихъ источникахъ, сейчасъ же упираешься въ загадочнѣйшее слово: индивидуальность.

Это альфа и омега всего.

Съ перваго же взгляда на Вѣрочку я замѣтилъ въ ней что-то особенное.

Теперь, когда я вспоминаю ея глаза, сіявшіе какой-то скрытой радостью, непривычно сдвинутыя черныя брови и нѣжно-розовыя полудѣтскія губы, мнѣ хочется безумно рыдать, не знаю отъ чего, отъ нестерпимой жалости или отъ ужаса передъ всѣмъ, случившимся много спустя послѣ того далекаго вечера. Но тогда, о, тогда я не былъ такъ сантименталенъ и, хотя я не понялъ причинъ ея перемѣны, но инстинктивно чувствовалъ непріязнь къ ней.

Она молча провела меня въ свою комнату, такъ похожую на дѣтскую, маленькую, уютную, тихую, усадила на диванъ, съ какой-то новой для меня заботливостью и съ необычайной неловкостью движеній.

— Вы ѣдете... я слышала,—отрывисто сказала она.

— Да, ѣду.

Мы помолчали.

Опять начиналась ложь—явная, несообразная ни съ чѣмъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вѣрьте мнѣ, такъ безконечно похожая на правду! Судите меня, какъ хотите, но опять я буду клясться вамъ, что сидя въ «дѣтской» Вѣрочки, зная, что она видитъ во мнѣ героя, ѣдущаго въ Македонію умирать, и не только не разубѣждая ее въ этомъ, а наоборотъ, разыгрывая комедію, рисуясь, если хотите, своимъ несуществующимъ благородствомъ,—я искренно трепеталъ весь отъ тѣхъ чувствъ, которыя были бы совершенно такими же, поѣзжай я въ Македонію на самомъ дѣлѣ.

— Я не понимаю васъ,—какимъ-то безсильнымъ шопотомъ говорила Вѣрочка:—зачѣмъ... почему въ Македонію, развѣ здѣсь нельзя?.. развѣ здѣсь мало дѣла?..

— Если бы вы знали, что дѣлается въ Македоніи, вы не сказали бы этого,—съ искреннимъ упрекомъ сказалъ я.

— По моему вамъ ѣхать умирать въ чужую страну, это... это подлость!

Слова ея вырвались съ внезапной неудержимой силой, и столько было въ нихъ напряженной жгучей ненависти, что я совершенно растерялся.

Секунду, одну только секунду мы въ упоръ смотрѣли другъ другу въ глаза и, какъ по уговору, оба встали съ своихъ мѣстъ.

Я не узнавалъ Вѣрочку. Блѣдная, суровая, со сжатыми плотно губами, она была такъ нова, взрослая, сильная. Мнѣ стало жутко; между нами начиналось нѣчто такое сложное, роковое, чему я, слабый, растерянный, помѣшать былъ не въ силахъ.

— Вы не понимаете меня... вамъ очень стыдно говорить такъ,—началъ я, чувствуя, что медленно, мучительно краснѣю.

— Вы ѣдете туда на показъ!—въ какомъ-то изступленіи, задыхаясь, кричала она мнѣ прямо въ лицо:—на показъ! изъ самолюбія, тщеславія—вы жалкій ничтожный уродъ... помните, какъ тогда... Это тогда вы о себѣ говорили, я отлично понимаю теперь... Это у васъ въ душѣ такая грязь, такая мерзость...

— Послушайте... замолчите... это ложь!..

— Ложь, ложь?—сверкая глазами, съ истерической усмѣшкой спрашивала она меня въ упоръ.

— Ложь!—почти кричалъ я.

— Такъ зачѣмъ же вы ѣдете?—неожиданно, мягко дрогнувшимъ голосомъ сказала она:—ну зачѣмъ, что вамъ Македонія—нѣтъ, у меня голова кругомъ идетъ.

Я ничего не понималъ. Смутно, по прежнему съ непріязнью, я не то, чтобы догадывался, а какъ-то предчувствовалъ глубоко скрытую причину совершенно неожиданныхъ выходокъ Вѣрочки.

— Я не могу жить здѣсь, когда эти звѣрства, эти нечеловѣческія звѣрства тамъ въ горахъ — за нѣсколько сотенъ верстъ...

— Что же вы спасать поѣдете?

— Да...

— Хотѣла-бы я васъ посмотрѣть въ полномъ вооруженіи,—съ короткимъ злобнымъ смѣхомъ сказала она.

Я молчалъ.

— Что же вы молчите... Говорите, что вы меня любите, что вы умираете отъ отчаянія, покидая меня, что вы обо мнѣ будете думать всю дорогу и когда васъ будутъ мучить турки, вы будете думать обо мнѣ, обо мнѣ одной. Ну говорите же, говорите!..

— Вѣрочка, что съ вами, успокойтесь,—бормоталъ я, въ изумленіи смотря на нее.

— Отвѣчайте мнѣ, понимаете ли вы, какъ вы смѣшны, худой, узкогрудый, съ больнымъ лицомъ, усталыми глазами, въ воинскихъ доспѣхахъ съ саблей, револьверомъ, винтовкой? Вы каррикатура... вы...

— Послушайте, вы способны оскорбить,—внезапно приходя въ прежнее почти истеричное состояніе прокричалаона:—или вы Христосикъ всепрощающій... Такъ знайте же, что я ненавижу, ненавижу васъ всѣми силами души!

— Въ такомъ случаѣ мнѣ остается...

Я повернулся, чтобъ идти.

— Постойте... Ради Бога скажите мнѣ, только такъ, чтобы я поняла васъ, почему вы рѣшили ѣхать?

Я остановился.

— Я не знаю съумѣю ли я объяснить. Вѣдь Македонія... Балканскій полуостровъ... Болгары... турки... все это такія далекія безжизненныя слова... Но представьте себѣ всѣхъ этихъ болгаръ такими же живыми людьми, какъ мы съ вами... Лица у нихъ открытыя, добрыя, чисто славянскія. Ребятишки бойкіе, веселые... Такъ вотъ, видите ли, пусть это не Болгарія, не Македонія, а Тверская и Московская губерніи. Только представьте себѣ это ясно, отчетливо. Пусть обезчещена дѣвушка не какая-то тамъ болгарка, а ваша сестра, пусть по деревнямъ на копьяхъ носятъ не какихъ то македонцевъ, а вашихъ братьевъ, Николая Эдуардовича. Не думайте, вѣдь и у нихъ бываютъ братья, сестры, невѣсты. Запомните, Бога ради, эти мертвыя картины живыми образами, представьте себѣ несчастную страну, сжатую со всѣхъ сторонъ грубой варварской силой, терзаемую до издѣвательства; обиженныхъ, обезчещенныхъ людей, которымъ не къ кому обратиться за правдой,—и вы поймете, что нельзя жить, когда все это творится на землѣ, жить, не бросившись туда, хотя бы за тѣмъ, смѣйтесь сколько хотите,—чтобы цѣловать ноги такъ страдающихъ людей...

Я замолчалъ. Я былъ увѣренъ, что какъ тогда передъ нашимъ объясненіемъ, она поддастся моей власти. Я ждалъ, что она въ раскаяніи со стыдомъ будетъ молить меня о прощеніи.

— Я вамъ не вѣрю,—едва внятно произнесла она.

Я молча повернулся и пошелъ прочь.

Но Вѣрочка быстро встала между мной и дверью.

— Уходите?—какъ въ ознобѣ дрожа всѣмъ тѣломъ, совершенно чужимъ голосомъ сказала она.

— Вамъ будетъ стыдно...

— Хорошо, идите.—Она отворила передо мной дверь:—только знайте... И наклонившись ко мнѣ, такъ что лицо ея скользнуло по моей щекѣ, неслышно, одними губами она прошептала какое-то слово. . .

. . . . . .

Я не разслышалъ, но понялъ его.

Я нелѣпый, дикій, а не «странный» человѣкъ! Любовь выражаетъ человѣческую личность! Ну, а что такое любовь-то! Поцѣлуи, объятья, сладкія улыбки. Или, можетъ быть, любовь это мучительство, это потребность бить, терзать, издѣваться? Я не знаю, что такое любовь и думаю, что люди выражаются не столько въ любви, сколько въ томъ, что они называютъ любовью. Для одного любовь это—полнолуніе съ соловьемъ, для другого—слезы, кровь, неистовое безуміе, а для третьяго любовь это—отвращеніе. Не вѣрите, думаете, авторъ на фальшивыя психологическія тонкости пускается? О, я насквозь вижу всю суть «обыденныхъ» разсужденій, которыя такъ же далеки отъ жизни, какъ египетскія пирамиды. Но, если вы до сихъ поръ вѣрили мнѣ и хоть сколько-нибудь понимали мои странности, то повѣрьте и этому.

Неожиданный, застѣнчивый, почти дѣтскій шопотъ Вѣрочки о любви меня, страннаго человѣка, не наполнилъ ни блаженствомъ, ни страстью. Испугомъ и холодомъ вошли слова ея въ мое сердце. Но я, автоматъ, мертвая форма мертвой жизни, могъ ли я, какъ на какихъ-то пружинахъ, не обнять ея, не прижать къ своей груди, словомъ не поступить, какъ влюбленный? И я все это сдѣлалъ порывисто, страстно, какъ полагается, сдѣлалъ механически, не думая, если хотите, не притворяясь, а какъ-то само собой, — въ то время, какъ на душѣ, кромѣ тяжелаго непонятнаго испуга, ничего не было.

Я прижималъ ее къ себѣ и чувствовалъ, какое худенькое у нея плечо, какъ вздрагиваетъ ея тѣло. Она въ полузабытьи говорила что-то, пряча отъ меня свое лицо, которое я съ холодомъ на душѣ и страстью въ движеніяхъ искалъ своими губами.

Она быстро откинулась отъ меня, обвила мою шею руками и крѣпко поцѣловала. Чувство, похожее на физическое отвращеніе, внезапно кольнуло меня. Вѣдь это лицо—обтянутый черепъ, тѣло это—мясо, говядина. Цѣловать, любить, ласкать трупъ: что можетъ быть противнѣе, страшнѣе этого? Мнѣ почудилось,

что сквозь платье я ощущаю ея холодное отъ волненія тѣло, противное, мягкое.

И въ бѣшеномъ порывѣ я обнялъ ее за плечи и сталъ цѣловать безъ конца ея мертвое лицо, ея черныя глазныя впадины, ея холодныя восковыя руки! Что это было? Любовь? Ненависть? Отвращеніе? Или и въ самомъ дѣлѣ безуміе «страннаго человѣка»? О, говорите скорѣе, безуміе, вѣдь это такъ удобно, такъ разомъ рѣшитъ все.

Какъ хотите называйте, но такихъ мукъ, такого, все существо потрясающаго иступленья—я не хотѣлъ бы здоровымъ людямъ...

Мертвый человѣкъ и мертвая любовь. Такъ мнѣ и нужно. Я ушелъ измученный, ушелъ, и какъ тогда, послѣ перваго объясненья проходилъ по улицамъ цѣлую ночь.

Угадайте, о чемъ я думалъ? О смерти? Нѣтъ, на этотъ разъ ошибаетесь. Понимайте, какъ знаете, только всю ночь, изнемогая отъ волненья, я купался въ сладостныхъ грезахъ и, вспоминая каждую черту своего любовнаго объясненія съ Вѣрочкой, ея фигуру, ея глаза, мягкіе волосы, худенькія плечи, я мысленно предавался разнузданнѣйшимъ, преступнѣйшимъ наслажденіямъ.

Литературный эффектъ, не правда ли?

XI.

Проводы.

Почти всѣ знакомые съѣхались на вокзалъ провожать меня. Настроеніе было торжественное, благоговѣйное. Видимо у всѣхъ была одна мысль: онъ герой, онъ ѣдетъ умирать за другихъ, насколько же онъ лучше насъ.

Надъ всѣми высоко возвышалась сутуловатая фигура Николая Эдуардовича, который, кажется, одинъ сіялъ тихой радостью и смотрѣлъ на меня безъ всякаго особеннаго почтенія, но съ нѣжной любовной лаской. Впереди всѣхъ, у самаго вагона, въ упоръ глядя себѣ подъ ноги, стояла Вѣрочка. Говорили въ полъ-голоса и какъ-то странно было видѣть тихую задумчивую толпу людей, когда кругомъ торопились, бѣгали, шумѣли.

Я чувствовалъ себя необыкновенно мягкимъ, растроганнымъ, но на душѣ все-таки было не легко. Я ничего не стыдился. Но что-то ненормальное во всемъ этомъ странномъ отъѣздѣ безотчетно тревожило меня.

Минутами, какъ искорки, вспыхивали во мнѣ странныя до дерзости мысли: а что, молъ, если сказать: надулъ я васъ всѣхъ и вовсе въ Македонію не собираюсь... Взять, да у всѣхъ на глазахъ и сказать Вѣрочкѣ какую-нибудь циничность...

Я разсѣянно смотрѣлъ на стоявшихъ передо мною людей и воображалъ, какъ уйдетъ поѣздъ и они медленно съ тяжелыми думами будутъ расходиться по домамъ.

Послѣ второго звонка я сталъ прощаться. Я заранѣе еще дома рѣшилъ поцѣловаться съ Вѣрочкой послѣдней. Я не знаю, почему такъ рѣшилъ. Весьма воз-

можно, что въ этомъ опять-таки сказалась моя любовь разыгрывать чувствительныя комедіи. Развѣ не трогательно въ самомъ дѣлѣ: онъ, герой, съ задумчивымъ взоромъ, ѣдетъ умирать за свободу, бросаетъ привычную жизнь, друзей, любимую дѣвушку,—и вотъ она пріѣхала на вокзалъ, никто не знаетъ объ ихъ любви. Скрывая волненье, онъ цѣлуетъ ее послѣднюю, чтобы ярче сохранить въ памяти послѣднюю ласку, которую, быть можетъ, никогда больше не суждено повторить.

Я поцѣловалъ Вѣрочку съ невольнымъ волненіемъ. Губы ея дрогнули, и холодная маленькая ручка до боли сжала мою руку.

Я всталъ на площадку вагона. Поѣздъ вздрогнулъ и нехотя поползъ мимо платформы. Глубокимъ задумчивымъ взглядомъ обвелъ я всѣхъ провожавшихъ меня, медленно снялъ шляпу и низко-низко поклонился. Все это я уже раньше придумалъ, заранѣе рѣшилъ до малѣйшей черты, какъ все это будетъ и теперь воспринималъ происходящее, какъ третье лицо.

Торжественная, хорошая была минута!

Я стоялъ на площадкѣ, покуда не скрылся изъ глазъ послѣдній электрическій фонарь. Не хотѣлось идти въ вагонъ—это бываетъ такъ: еще тяжелое настроеніе не охватило душу, а уже есть какое-то предчувствіе, что когда сдѣлаешь то-то и то-то, ну, хоть ногу на ногу положишь, то обязательно начнется,—а покуда не шевелишься—ничего.

Но становилось холодно, и я вошелъ въ вагонъ, темный, душный, почти пустой. Я сѣлъ на диванъ и внезапно почувствовалъ себя слабымъ, разбитымъ, маленькимъ и главное совсѣмъ-совсѣмъ ненужнымъ. Изо всѣхъ угловъ вагона, словно пользуясь моей безпомощностью, стали выползать далекія воспоминанія, забытыя чувства, а главное—вопросы и вопросы безъ конца; я даже не сознавалъ ихъ вполнѣ отчетливо, а такъ всѣмъ существомъ чувствовалъ, что нужно на что-то обязательно, неотложно отвѣтить...

У меня сохранилось изъ ранняго дѣтства одно чрезвычайно трогательное воспоминаніе. Мнѣ было

тогда, должно быть, лѣтъ пять. У сосѣдей умеръ мальчикъ, такой же маленькій, какъ и я. Помню, это было весной, цвѣлъ жасминъ. Маленькій гробикъ весь убрали цвѣтами. Когда его несли, я все время придерживалъ за металлическую ручку, она была холодная, и мнѣ почему-то казалось, что она тоже мертвая. Долго послѣ этого у меня была странная потребность играть въ похороны. Я сдѣлалъ себѣ куклу, положилъ ее въ ящичекъ, убралъ жасминомъ и ходилъ далеко по дорожкѣ въ паркъ зарывать ее подъ густой тѣнистой липой. Я не любилъ, когда это видѣли другіе, и всегда неудержимо плакалъ надъ своей игрушечной могилой. Весьма возможно, что тутъ и тогда уже было не столько любви къ покойному, сколько жалости къ самому себѣ.

Я не знаю, почему мнѣ вспомнился въ вагонѣ этотъ фактъ, но никогда, кажется, воспоминанія объ немъ такъ больно не ударяли по моимъ нервамъ. Чтобы скрыть свое волненіе я всталъ и прижался головой къ черному окну и сейчасъ же по какому-то инстинкту, должно быть самосохраненія, заставилъ свое воображеніе обратиться на македонскихъ женщинъ. Ужъ я лучше не стану писать, до какихъ фокусовъ я доходилъ въ своихъ мечтахъ, что дѣлалъ я съ ними, и что заставлялъ дѣлать ихъ, и хотя я убѣжденъ, что и вы тоже падки до такихъ картинокъ, но все-таки къ чему же «оскорблять» ваше «нравственное чувство»? Я мечталъ, волновался, плакалъ,—а поѣздъ несъ меня все дальше и дальше. Куда? О, теперь я уже зналъ куда.

. . . . . .

Дней черезъ пять послѣ своего отъѣзда я сидѣлъ въ маленькомъ грязномъ номерѣ «Русской» гостиницы въ Софіи и писалъ Вѣрочкѣ слѣдующее письмо:

«Завтра я отправляюсь съ отрядомъ инсургентовъ къ сербской границѣ. Турки задерживаютъ всѣхъ подозрительныхъ людей, и потому мы перейдемъ границу пѣшкомъ. Въ началѣ декабря здѣсь устанавливается очень суровая зима, и тогда всякая дѣятельность временно прекращается, такимъ образомъ, если до

февраля я не возвращусь, значитъ я не вернусь вовсе. Я знаю, вы повѣрите, что смерть меня не страшитъ, ибо смерть не страшное, а великое слово. Я не хочу умирать, но дѣло тутъ не въ боязни. Я не хочу умирать, потому что чувствую свой жизненный путь не пройденнымъ, силы еще не развившимися, задачи не осуществленными, а между тѣмъ, иной разъ, такое страстное желаніе охватываетъ душу поднять жизнь на должную высоту. Не хочу я умирать еще и потому, что у мено не погасла надежда и на личное, эгоистическое счастье, которымъ я не избалованъ, — и когда я думаю о томъ, что черезъ двѣ-три недѣли быть можетъ меня и не будетъ, мнѣ самому хочется плакать надъ собой.

«Что же сказать-бы вамъ на прощаніе? Просить помнить обо мнѣ, если со мной что случится? Но развѣ это нужно? Вѣдь есть вещи, которыя не забываются, а потомъ пусть ужъ лучше мертвецы хоронятъ своихъ мертвецовъ. Если въ моей жизни что-нибудь было достойно подражанія, и какая-нибудь идея достойна памяти — пусть они не умираютъ въ вашей памяти, ну, а самъ я—пустая форма.

«А сказать на память что-нибудь хотѣлось-бы. Есть одна идея, избитая до того, что потеряла свой жизненный смыслъ. Но я постоянно твержу ее и себѣ и другимъ. Нужно любить людей. Только любить нужно конкретно и пламенно. Нужно помнить, что они мучаются и страдаютъ такъ же, какъ мы съ вами, всѣ они нуждаются въ участіи, и потому личная жизнь должна опредѣляться стремленіемъ не къ личному счастью, а къ общественному благу. Это мое credo.

«Прощайте. Не мучайтесь очень, если что случится. Умремъ—увидимся—я вѣрю въ это. Знайте только—какъ бы не мучали, какъ бы ни терзали меня турки, я умру, думая только о васъ. Это я пишу не фразу. Заочно цѣлую васъ, моя родная, моя сестреночка, моя дочка, моя безцѣнная, моя чудная дѣвушка. Обнимаю и крещу васъ: будьте счастливы, желаю тебѣ этого такъ, какъ врядъ ли кто-нибудь когда-нибудь пожелаетъ».

Я писалъ, и слезы медленно и тяжело капали на исписанный листокъ. Когда я написалъ слово тебѣ, —онѣ хлынули изъ глазъ. Я плакалъ, но я отлично зналъ, что никакой границы переходить не собираюсь, а преспокойно проживу въ гостиницѣ мѣсяцъ или полтора, а потомъ вернусь домой.

Но я страдалъ, страдалъ искренно и глубоко. Пусть это своего рода тоже сантиментальность, не знаю тамъ, я не мастеръ на термины, но жутко и безпросвѣтно темно было на сердцѣ. Чего вы разнюмились,— брезгливо скажете вы: будто и въ самомъ дѣлѣ на смерть шли? Эхъ, господа, да можетъ быть весь и ужасъ-то въ томъ, что у страданій нѣтъ никакого смысла. Позвольте мнѣ ужъ пофилософствовать. Можетъ быть, и у жизни смыслъ былъ бы, будь хоть какой-нибудь смыслъ въ страданіи. Возьмите людей до Христа. Они страдали и имъ казалось, что въ ихъ страданіяхъ смыслъ есть, — а потому и жизнь для нихъ имѣла смыслъ: приблизить Христа грядущаго. Ну, а теперь? Ну, я, напримѣръ, за что, скажите Бога ради, за что мои муки. Чтобы Антихристъ пришелъ? Но вѣдь онъ придетъ, чтобы истребить окончательно жизнь. Гдѣ же тутъ справедливость?

О, если бы вы только могли заглянуть въ мою грудь, увидать и почувствовать, какъ тяжело, какъ безумно тяжело жить, жить поневолѣ, во что бы то ни стало и неизвѣстно зачѣмъ.

Можетъ быть это грубое сравненіе, но право же жизнь похожа на бойню: стоитъ покорное животное и ждетъ, когда его хватятъ обухомъ по головѣ.

Если есть кто-нибудь, кто создалъ жизнь, то я ненавижу его всѣми помыслами, всѣми силами своей души!

ЧАСТЬ II.

I.

Марѳа.

Не думайте, пожалуйста, что «Марѳа» это какой-нибудь «символъ», что нибудь «евангельское», вообще нѣчто «иносказательное».

Ничего подобнаго! Это просто деревенская дѣвка.

Правда ли, что ужъ это такъ «просто»?..

Впрочемъ, поменьше буду «разсуждать». Во первыхъ, скучно. Читатель любитъ разсказы занимательные, хотя бы въ нихъ скрыта была «исповѣдь». А во вторыхъ, послѣ всего, мною уже сказаннаго, дальнѣйшіе факты, право-же, говорятъ сами за себя, безъ всякихъ «разсужденій».

Я увидалъ ее зимой, на Рождествѣ, у Александры Егоровны. «Тетушка» устраивала для деревенскихъ ребятишекъ елку. Народу набралось со всѣхъ окружныхъ деревень. Ребятишки что-то пѣли, плясали въ маскахъ подъ хохотъ, визгъ и гармонію.

Тѣснота, духота.

Меня давили и толкали со всѣхъ сторонъ. Подлое это состояніе, когда въ тѣснотѣ все превращается въ громадное, многоголовое тѣло. Меня просто тошнитъ въ толпѣ отъ такого обилія мяса. И потомъ толпа, гдѣ есть женщины, всегда похотлива и развратна. Ну, однимъ словомъ, гадость!

Я не уходилъ по какой-то странной безвольности: надо было двигаться, проталкиваться, рѣшительно захотѣть уйти,—я не могъ этого и тупо скучалъ, безсмысленно раздражался.

И вотъ, вдругъ, почти противъ себя, увидалъ ея лицо... Замѣчательное, безпристрастно говорю. Я думаю, только въ Россіи бываютъ такія лица. Роскошный цвѣтъ лица, открытый бѣлый лобъ, и главное, эти

грустные довѣрчивые глаза, въ которыхъ столько скрытой нѣжности, звонкаго веселья, глубокой тоски, жгучей страсти. Казалось, всѣ огни елки отразились въ ея глазахъ, такъ радостно, возбужденно сіяли они!

Но почему-то больше всего поразили меня ея крупныя, темнокрасныя губы и ровный рядъ бѣлыхъ, какъ снѣгъ, зубовъ.

Я смотрѣлъ на нее только нѣсколько секундъ,—и, грубо расталкивая стоящихъ вокругъ себя, бросился изъ комнаты.

Я не могъ, просто не могъ перенести такого лица,—этой улыбки, этого полуоткрытаго рта!

Не страсть поднялась во мнѣ, не какая-нибудь тамъ животная похоть,—нѣтъ, это было что-то поглубже и по-значительнѣе.

Мнѣ больно было, физически больно отъ ея красоты, отъ ея вызывающей молодости. И стыдъ, и злость,—точно какую-то обиду нанесли, оскорбили. Но все-же главное чувство, самого меня поразившее, какъ сторонняго наблюдателя, было чувство разрушенія: уничтожить ее, измять, стереть до тла ея губы, ея проклятые глаза, розовыя матовыя щеки, бѣлый лобъ, молодость ея, нѣжность ея, всю, всю, совсѣмъ, до тла!...

. . . . . .

Все это произошло больше, чѣмъ черезъ годъ послѣ моего возвращенія изъ Македоніи. Къ этому времени Вѣрочка была уже моей невѣстой!

Зачѣмъ только я смѣяться разучился! Губы безжизненны стали—не заставишь ихъ, а то-бы я съ ума сошелъ отъ этого слова. «Невѣста»! Самка, которую послѣ всяческихъ комедій вручаютъ счастливому самцу. Еще бы! Ну, а для очищенія совѣсти сводничество можно назвать «бракомъ».

Да-съ, и я былъ тоже женихъ! То-есть самецъ, обычная роль котораго терпѣливо ожидать, когда его самка совсѣмъ будетъ «готова». Моя-то роль, положимъ, въ дѣйствительности была нѣсколько иной, но по внѣшности и я все продѣлывалъ, какъ «настоящій», разыгрывалъ, какъ по нотамъ, откуда что бралось: и видъ томный, и взглядъ счастливый.

Бѣдная Вѣрочка, милая Вѣрочка!..

Впрочемъ, спокойствіе, спокойствіе, буду придерживаться «эпоса».

Итакъ, я былъ женихъ. Повторяю,—это со стороны внѣшней, что-же касается стороны внутренней, то врядъ ли можно съ точностью сказать, кѣмъ собственно я былъ.

Я любилъ Вѣрочку,—по своему, конечно. Я знаю, что любилъ ее; теперь мнѣ не для чего и не передъ кѣмъ лгать. Любовникомъ, положимъ, въ отношеніи ея я себя не чувствовалъ, но зато жалость, размягчающую душу, сантиментальную и слезливую, испытывалъ всѣмъ существомъ.

Я ласкалъ ее,—и мнѣ плакать хотѣлось. Я въ ней и себя какъ-то жалѣлъ, уродство свое, мертвечину свою. Чѣмъ ей бывало веселѣе, чѣмъ звонче раскатывался ея смѣхъ, тѣмъ острѣе щемило мнѣ сердце и жалостнѣе была моя ласковость.

— Ну, будетъ, ну пойдемъ, родной мой,—говорила она, близко-близко наклоняясь къ моему лицу, и тащила меня куда-нибудь гулять или кататься.

И я нѣжно ласкалъ ея руку, такую хрупкую, такую маленькую, совсѣмъ безъ мяса.

Но все же я не столько любилъ ее, сколько привыкъ къ ней. А вѣдь привычка для меня, можетъ быть, опаснѣе любви!

Привычка, какъ ватой всего обертываетъ. Перестаютъ колоть тебя всякія, такъ называемыя, «впечатлѣнія»,—засыпаешь, успокаиваешься...

Я привыкъ къ ея лицу, оно меньше другихъ подымало во мнѣ надоѣдливыхъ вопросовъ. Привыкъ къ смѣху—онъ меньше, чѣмъ смѣхъ новаго человѣка, раздражалъ и озлоблялъ меня. Наконецъ, привычка къ ней успокаивала, по крайней мѣрѣ, отчасти, мой страхъ смерти: все вдвоемъ какъ-то храбришься, а вѣдь съ чужимъ человѣкомъ никогда «вдвоемъ» себя не почувствуешь.

Я заговорилъ о встрѣчѣ съ Марѳой, потому что она имѣла самыя роковыя послѣдствія для дальнѣйшаго развитія моего «романа».

Марѳу въ деревнѣ я всего только одинъ разъ, тогда на елкѣ и видѣлъ. Образъ ея до странности быстро исчезъ изъ моей памяти. Первое время по пріѣздѣ изъ деревни, я совершенно не вспоминалъ объ ней, точно и не видалъ никогда.

Но это продолжалось недолго!

Скоро началось нѣчто нелѣпое, я-бы сказалъ дьявольское, если-бы вѣрилъ въ дьявола. Навожденіе, если хотите.

Красный ротъ ея, матовыя щеки, блестящіе бѣлые зубы стали положительно преслѣдовать меня.

Началось это такъ-же внезапно, какъ внезапно исчезла она изъ моей памяти въ деревнѣ.

Ни о чемъ другомъ, кромѣ лица и тѣла ея, я не могъ думать. Не хочется мнѣ долго останавливаться на этомъ. Я ужъ каялся въ своей извращенности. Ну, однимъ словомъ, крѣпкое тѣло, здоровое, стихійное, некультурное, гдѣ-то тамъ въ захолустной деревнѣ, которое при «свободѣ нравовъ» всякій можетъ трогать, а она только, небось, смѣется весело, зубы свои показываетъ,—дурманило меня, наполняло меня злобной ревностью, доводило до истерики. На всѣхъ и на всемъ я готовъ былъ выместить свою безумную злобность. Все стало мнѣ противнымъ, досаднымъ. Ну, и прежде всего, конечно, Вѣрочка.

Мнѣ легко было надъ ней измываться. Еще бы! Она,—маленькая, тоненькая Вѣрочка,—полюбила меня по настоящему.

Я часто, съ боязливымъ любопытствомъ смотрѣлъ, какъ она ласкалась ко мнѣ всѣмъ существомъ своимъ, нѣжнымъ, хрупкимъ, какъ стебелекъ. Неужели меня можно такъ полюбить?—вертѣлось тогда въ мозгу. Очевидно можно было!

Вообще, я долженъ сказать, что Вѣрочка страшно измѣнилась за это время. По пріѣздѣ изъ Македоніи я буквально не узналъ ея, хотя по внѣшности она почти не измѣнилась.

Словно вся она, мѣнявшаяся постоянно въ разные цвѣта, настроенія, вдругъ застыла, увидавъ передъ собой что-то глубокое, новое, неожиданное. Притихла

вся, стала такая кроткая, послушная, нѣжная. Вся сила жизни ея сосредоточилась въ одномъ напряженномъ порывѣ, и потому неподвижность эта не была тяжелой, бездушной, она вся полна была трепетной углубленной жизни. Я звалъ ее часто «маленькой героиней». Именно «героиня»! Безъ всякой позы, просто, серьезно, она способна была на подлинное геройство, на какое угодно самопожертвованіе.

И такой ребенокъ—святой, беззащитный,—попалъ въ лапы мертвецу!

Ну, и началась потѣха!

Я не стану разсказывать всѣхъ безобразныхъ сценъ, которыя начались подъ вліяніемъ «навожденія» и стали повторяться все чаще и чаще по мѣрѣ того, какъ образъ Марѳы порабощалъ мое воображеніе, сковывалъ всю мою жизнь.

Разскажу только объ одномъ вечерѣ для «образчика».

Осень была въ разгарѣ. Слякотная, черная, съ безконечными дождями, холоднымъ вѣтромъ. Отвратительное время года, кажется, созданное для того, чтобы пѣть торжествующую пѣснь смерти.

Осенью я рѣдко бываю на кладбищѣ. Слишкомъ даже для меня! Покойника кладутъ почти въ воду, холодную, желтую отъ глины. Говорятъ, тѣло такъ разбухаетъ, что доски гроба лопаются!

Я, какъ Іуда, не могу найти себѣ мѣсто въ это подлое время.

Вотъ мнѣ и пришла счастливая мысль: самую смерть себѣ служанкой сдѣлать. Утилитарная натура! Я хотѣлъ воспользоваться осенью и прогнать отъ себя Марѳу.

Развѣ не отвратительны всѣ женщины, тамъ въ землѣ, въ сырой, желтой глинѣ! И ея «крѣпкое» тѣло не исключеніе! А какъ раздуются и посинѣютъ ея толстыя губы. Все лицо превратится въ безобразный пузырь.

Но нѣтъ, видимо, навожденіе было сильнѣе смерти! Отвратительной была какая-то другая чужая женщина, а она, проклятая красавица, только скалила свои снѣж-

ные зубы и хохотала грубымъ визгливымъ деревенскимъ смѣхомъ, который возбуждалъ меня своей грубостью и дикостью.

Къ Вѣрочкѣ я заходилъ по нѣсколько разъ на дню. Куда-же дѣваться? Холодно, сыро, вѣтеръ свиститъ. Все-таки тамъ не такъ одиноко.

Такъ вотъ пришелъ я къ ней въ одинъ изъ такихъ сырыхъ, мерзкихъ вечеровъ въ какомъ-то особенно тупомъ, деревянномъ и тягостно-злобномъ состояніи.

Вошелъ молча и сѣлъ на диванъ.

Вѣрочка что-то читала за своимъ письменнымъ столомъ.

Она взглянула на меня черезъ плечо, улыбнулась и сказала:

— Сейчасъ кончу.

Я молчалъ.

Она снова взглянула на меня и, должно быть, замѣтивъ разстроенное мое лицо, быстро встала и сѣла рядомъ со мной.

Мнѣ противна была ея близость и такъ тоскливо ныло въ груди. Жалко было ея и злобно досадно на эту жалость.

Вѣрочка сразу подчиняясь мнѣ,—я это всегда такъ прекрасно чувствовалъ,—робко взяла меня за руку.

Она не знала, что сказать, и только тихо прижала мою руку къ своему лицу.

— Оставь,— весь передергиваясь, проговорилъ я, какъ автоматъ.

Она виновато пустила мою руку и, совсѣмъ растерявшись, заглядывала въ мои глаза.

Что-то тяжелое, тупое, наростало въ моей душѣ, какъ брошенный съ горы комъ снѣга. Мнѣ было и стыдно, что она такъ терпѣливо сноситъ грубость и нестерпимо раздразнивало, что она съ такимъ выраженіемъ глазъ смотритъ на меня: точно понять что-то силится, войти въ душу, успокоить. А и понимать-то нечего! Въ душѣ пустота,—окончательная пустота; нечего и въ глаза заглядывать, нечего понимать.

Чепуха, гадость все!

— Оставь, пожалуйста, меня!—какъ по дереву отчеканилъ я.

— Что съ тобой,—прошептала она, и, должно быть, желая прогнать мрачность мою, улыбнулась. Но сейчасъ же спохватилась, что я могу не понять ее, и улыбка застыла, и вся она стала такая жалкая-жалкая.

Я не смотрѣлъ на нее, но видѣлъ и улыбку ея, и всю игру лица ея.

Клянусь честью, еще-бы одна секунда, еще что-то должно было шевельнуться во мнѣ, и я упалъ-бы къ ней на грудь, сталъ-бы въ отчаяніи просить прощенья, сталъ бы цѣловать худенькія, прозрачныя руки ея.

Но мало ли что «должно»,—да вотъ не шевельнулось!

— Что-же ты молчишь?—окончательно деревенѣя и для большаго эффекта еще поворачивая къ ней свое лицо, спросилъ я.

Ей видимо стало вдругъ такъ обидно, такъ незаслуженно больно, что она, даже если бы хотѣла, если бы знала, что отвѣтить на мой идіотскій вопросъ, просто физически не смогла бы: скажи она слово,— она разрыдалась бы.

Я видѣлъ это, о, я прекрасно это видѣлъ! Но комъ снѣга все катился, все катился..

— Прекрасно,—не мѣняя тона продолжалъ я:—ты будешь молчать и я тоже.

Вѣрочка, глазами полными слезъ, смотрѣла въ полъ и одной рукой нервно перебирала скатерть. Я замѣтилъ, какъ дрожали ея пальцы.

Она молчала.

Молчалъ и я.

Сколько прошло? Не знаю. Можетъ-быть секунда, можетъ-быть часъ, вѣчность... не знаю! Я застылъ, похолодѣлъ. Комъ снѣга превратился въ свинецъ. Я ничего не думалъ, ничего не хотѣлъ, ничего не чувствовалъ. Да и меня-то совсѣмъ не было,—одна безформенная проклятая тяжесть.

Тяжесть моя придавила и Вѣрчоку. Она, такъ же, какъ и я, не могла выговорить слова, и только ниже опустила дрожащія вѣки.

Молчаніе.

Я съ трудомъ дышу. Дикія, нелѣпыя, безобразныя мысли врѣзаются въ мое сознаніе. Я больше не владѣю собой.

— Ты должна сказать что-нибудь,—почти однимъ движеніемъ губъ говорю я.

Вѣрочка совсѣмъ съеживается, дѣлается такая маленькая. Голова совсѣмъ опускается на руки.

Мы молчимъ еще нѣсколько мгновеній.

Я дѣлаю рѣзкое движеніе. Вѣрочка, сразу мѣняя лицо, вскидываетъ на меня глаза.

Она все сдѣлать готова. Она все скажетъ. Она любитъ, любитъ меня.

Но поздно ужъ!

— Молчишь, молчишь!—кричу я:—ты хочешь съ ума свести!... Не смѣй, не смѣй молчать! Или... Я не знаю, что это... Не смѣй молчать!...

Вѣрочка съ ужасомъ прижимаетъ руки къ своему лицу, что-то хочетъ сказать мнѣ, но я уже не слушаю. Не могу слушать. Я бѣгу вонъ изъ комнаты и только издали слышу, какъ Вѣрочка безсильно, безутѣшно начинаетъ рыдать...

Вотъ вамъ «образчикъ». Послѣднее время такъ или почти такъ кончался каждый вечеръ.

Безъ Марѳы дольше я жить не могъ. У Вѣрочки терялись послѣднія силы въ такой жизни со мной. Но все равно, все равно! Не знаю зачѣмъ, не знаю какъ, но Марѳа должна была быть со мной!...

Наконецъ я рѣшился на чрезвычайно смѣлое предпріятіе.

II.

Опять онъ.

Однако, чтобы придерживаться хронологическаго порядка, я долженъ разсказать о томъ, что къ моимъ «сердечнымъ дѣламъ» не имѣетъ никакого отношенія.

Въ моемъ «религіозномъ» развитіи произошла одна значительная перемѣна. Объ этомъ необходимо сказать нѣсколько словъ.

Вѣрующимъ я не сталъ, конечно. Живого отношенія къ Добру тоже не получилъ. Я просто со многимъ сталъ «соглашаться». Не всегда, но въ иныя минуты, какъ-то помимо своей воли, я начиналъ «допускать», что т а м ъ все правда написана. И Богъ есть, и Сынъ приходилъ, и распяли, и воскресъ! Убѣжденій и чувствъ своихъ я не измѣнилъ. А это такъ, въ видѣ какого то шестого чувства, наперекоръ и логикѣ, и здравому смыслу!

И въ тоже самое время, съ полной твердостью и ясностью, я понялъ, что останься у меня это навсегда, т. е. перейди «допущеніе» мое въ увѣренность,—в о м н ѣ ничего по существу не измѣнится. Ну, есть Богъ, ну, распяли, ну, воскресъ. А мнѣ-то что за дѣло! Это меня не касается.

Я очень настаиваю на этомъ чувствѣ. Именно: э т о м е н я н е к а с а е т с я.

Признаюсь, меня мало поразило новое открытіе. Оно было, пожалуй, мнѣ на руку; избавляло отъ лишнихъ мученій вопросами вѣры. Все, молъ, равно, есть и отлично!

Я совершенно не помню, когда и какъ появилась эта новая черта во мнѣ. Сильно подозрѣваю, что она всегда во мнѣ была.

Тутъ, съ перваго взгляда, какъ будто-бы и есть

какое-то противорѣчіе: развѣ не казалось мнѣ, что всѣ муки мои происходятъ отъ того, что я увѣровать не могу? Но это такъ, только съ перваго взгляда.

Можетъ быть, немножко я и фантазирую, психологическими парадоксами занимаюсь, но мнѣ положительно начинаетъ казаться, что настойчивое, до отчаянія доходившее желаніе увѣровать, то есть, признать, что все тамъ дѣйствительно было,—проистекало не изъ сознанія того, что увѣрую я, такъ сейчасъ же и осчастливлюсь, а какъ разъ наоборотъ. Увѣруешь, молъ, и ничего не измѣнится. Все на своемъ мѣстѣ останется. Значитъ все, что въ тебѣ творится, —не отъ безвѣрія. И разница между тобой и Николаемъ Эдуардовичемъ не въ этомъ.

Впрочемъ, можетъ быть, все это и въ правду парадоксъ... Какъ бы ни было, есть тутъ противорѣчіе съ прошлымъ или нѣтъ, только что я сталъ изъ невѣрующаго «согласившимся».

Какъ разъ въ это время пріѣхалъ ко мнѣ Николай Эдуардовичъ.

Все лѣто и часть осени онъ жилъ недалеко отъ Александры Егоровны въ лѣсной сторожкѣ, въ полномъ одиночествѣ и писалъ какую-то работу. «Спасался», какъ про него полушутя и въ тоже время почти съ благоговѣніемъ говорила тетушка.

Я обрадовался ему искренно.

Мы поцѣловались съ нимъ и внимательно посмотрѣли другъ на друга. Я—съ любопытствомъ; онъ съ нѣжной серьезностью.

Въ Николаѣ Эдуардовичѣ тоже произошла какая-то перемѣна. Я сразу это почувствовалъ. Впрочемъ, въ отношеніи его всѣ мои воспріятія становились до неуловимости смутными. Я не могъ его отчетливо представить себѣ никогда: онъ расплывался въ какое-то загадочное, туманное пятно...

Николай Эдуардовичъ никогда не «начиналъ разговора», онъ всегда сразу приступалъ къ тому, зачѣмъ пришелъ, а приходилъ всегда зачѣмъ-нибудь.

— Я къ тебѣ (мы съ нимъ ужъ на ты были) съ разными проэктами практическими, но важными и неотложными.

Онъ говорилъ спокойно, какъ всегда серьезно, безъ всякой дружески-фамильярной «игривости»!

Да, онъ былъ очень спокоенъ, какъ-то по новому. Не было въ немъ никакой дерганности, нервной растерянности, которую такъ часто люди выдаютъ за глубину душевную.

«Онъ настоящій», съ удовольствіемъ подумалъ я.

Смѣшно, но я почти гордился имъ!

— Какія же дѣла?—невольно подчиняясь его тону, спросилъ я.

— А вотъ слушай,—по порядку! Только одна оговорка. О внутренней сторонѣ сейчасъ мы говорить совершенно не будемъ. Мы такъ одинаково чувствуемъ и воспринимаемъ, что это покуда не нужно.

Такъ вотъ. Я пришелъ къ заключенію, что намъ пора выходить на активную общественную работу. Само собой, работу религіозную. Смутно это сознавалось, конечно, и раньше, ну, а теперь опредѣлилось окончательно.

Главное несчастіе христіанскаго дѣла въ томъ, что всѣ силы разбиты. Никто не можетъ найти другъ—друга, всѣ врозь. Очевидно, необходимо создать нѣчто вродѣ христіанской организаціи. Какъ же это сдѣлать? Я думалъ надъ этимъ все лѣто и пришелъ къ такимъ выводамъ. Я, конечно, въ общихъ чертахъ говорю, одну только суть. Пришелъ я къ выводамъ, что намъ необходимо воспользоваться въ этомъ смыслѣ опытомъ другихъ партій; опытомъ ихъ организаціонной работы.

Мы заведемъ по всей Россіи связь съ сочувствующими намъ людьми. Эти люди на мѣстахъ образуютъ комитеты, которые откроютъ кружковую работу.

Всѣ комитеты будутъ объединяться центральнымъ комитетомъ. Онъ можетъ находиться здѣсь у насъ. Теперь дальше. Такая организація можетъ осуществиться только въ томъ случаѣ, если у насъ будетъ своя политическая и экономическая программа и своя литература. А потому, самое первое, что я хочу предложить: это собраться всѣмъ намъ (тутъ Николай Эдуардовичъ назвалъ нѣсколько нашихъ общихъзна-

комыхъ) и выработать программы, опять-таки пользуясь существующими въ другихъ партіяхъ, но, такъ сказать, съ религіозной основой.

— Я знаю,—поспѣшно сказалъ онъ, принявъ мое случайное движеніе за желаніе возразить:—я знаю, что тутъ надо быть страшно осторожнымъ въ религіозномъ смыслѣ. Такъ легко незамѣтно для самаго себя продать душу за чечевичную похлебку; превратиться въ какихъ-нибудь пошлѣйшихъ нѣмецкихъ «христіанскихъ соціалистовъ». Я очень хорошо понимаю. Но, вѣдь, въ этомъ люди виноваты, а не самое дѣло. Для насъ «программы» внѣшнія условія,—такъ онѣ внѣшними и останутся.

Такъ вотъ, что ты обо всемъ этомъ думаешь?

Что я долженъ былъ отвѣтить на этотъ вопросъ, если бы вздумалъ отвѣчать совсѣмъ искренно? Что я дѣйствительно обо всемъ этомъ думалъ?

А думалъ, какъ всегда, въ одно и то-же время вещи самыя противорѣчивыя, даже, пожалуй, взаимно другъ-друга исключающія. Словомъ, какъ всегда въ такіе моменты, путаница у меня поднялась невообразимая.

Но все же преобладающимъ были не «мысли» какія-нибудь, а в о п р о с ъ: насколько это полезно для христіанскаго дѣла?

Вопросъ этотъ вертѣлся въ моемъ мозгу все время, пока говорилъ Николай Эдуардовичъ. Я, разумѣется, совершенно не имѣлъ склонности къ тому, чтобы рѣшить его въ положительномъ смыслѣ. Чувство такое было: я, замаскированный непріятель, попадаю во вражескій станъ и тамъ узнаю отъ вождя, какой ходъ намѣревается онъ предпринять.

Чтобы не отвѣчать прямо на вопросъ Николая Эдуардовича, я на вопросъ его отвѣтилъ вопросомъ.

— Другими словами, ты хочешь организовать христіанскую политическую партію?

— Нѣтъ, не совсѣмъ. Я хочу создать «Союзъ христіанъ» съ религіозными цѣлями. Выработать церковную программу и ее положить во главу угла, но такъ какъ въ настоящее время жизнь требуетъ отъ

христіанъ участія въ политической и соціальной жизни, то выработать политическую и экономическую программу. Христіане тогда будутъ знать, что имъ дѣлать въ этомъ направленіи, согласно своей христіанской совѣсти.

— Ну да, я понимаю. Все же, поскольку здѣсь будетъ политика—это будетъ христіанская политическая партія.

— Да, пожалуй.

— Что же, по моему, все, что ты говоришь, страшно важно и можетъ имѣть прямо грандіозныя послѣдствія; это можетъ подготовить реформацію, въ смыслѣ настоящаго церковнаго возрожденія, конечно.

Я проговорилъ это довольно горячо. Я уже вполнѣ опредѣленно почувствовалъ, что н и ч е м у не грозитъ опасность отъ этого «религіознаго» предпріятія.

Это не страшно! Я боюсь другого. Никакія практическія начинанія меня не пугаютъ.

Николай Эдуардовичъ сталъ «развивать» свои мысли. И чѣмъ яснѣй становилось для меня, что для «Христова» дѣла «Союзъ христіанъ» ничего не прибавитъ, тѣмъ съ большей горячностью, даже, пожалуй, съ радостью, съ и с к р е н н е й радостью поддакивалъ я этому плану.

Николай Эдуардовичъ, разумѣется, понялъ мою радость по-своему и, такъ какъ очень высоко цѣнилъ меня, какъ «проповѣдника»,—былъ, видимо, страшно доволенъ.

Мы проговорили съ нимъ цѣлый вечеръ.

Что-то дѣтское, чистое, почти трогательное было въ той наивности, съ которой онъ бралъ бумагу, записывалъ темы для брошюръ, вспоминалъ разныхъ лицъ, съ которыми можно было бы вступить «въ связь».

— Знаешь,—совсѣмъ оживляясь сказалъ онъ:—я тутъ въ одной булочной постоянно покупаю хлѣбъ, меня очень хорошо знаютъ приказчики. Я вполнѣ могу завести съ ними разговоръ. Устроимъ нѣчто вродѣ «христіанскаго профессіональнаго союза»?

Скажу прямо, эта дѣтская наивность, голубиная

какая-то, безъ тѣни рисовки, н а с т о я щ а я, отъ сердца, —она внутренно страшила меня гораздо больше, чѣмъ вся эта знаменитая его «организація»!

О, какъ я хотѣлъ тогда хоть на одну секунду, на одну тысячную секунды проникнуть въ его душу и тамъ посмотрѣть, что это значитъ: жить религіозною жизнью, чувствовать Христа, любить людей, какъ это можно, не знать страха!

Какое дивное лицо у него было! Тонкое, прозрачное, и эти мягкія черныя волны волосъ. Да, голова пророка! Знаешь вѣдь ужъ, что онъ прекрасенъ и всетаки каждый разъ снова хочется сказать объ этомъ.

И человѣкъ съ такимъ лицомъ, съ такими глазами, которымъ, казалось, все открыто, вдругъ, какъ ребенокъ говоритъ о какихъ-то «булочникахъ», о какомъ-то «христіанскомъ» профессіональномъ союзѣ.

И всетаки, ей Богу, это какъ-то шло къ нему! Самое несоотвѣтствіе это шло.

Къ концу вечера мы уже окончательно «постановили» организовать «христіанскій союзъ» и съ этой цѣлью устроить маленькій учредительный съѣздъ.

Николай Эдуардовичъ взялся приготовить программы, я—написать нѣсколько воззваній.

На этомъ первое «засѣданіе» кончилось.

III.

Марѳа и Вѣрочка.

Я таки добился своего: Марѳа была у меня!

Подробностей разсказывать не стану. Однимъ словомъ, нашелся предлогъ, чтобы съѣздить къ «тетушкѣ», тамъ я наговорилъ что-то насчетъ необходимости имѣть въ столицѣ надежную прислугу. Ну, и въ концѣ концовъ, при живѣйшемъ участіи Александры Егоровны, уговорилъ Марѳу ѣхать со мной.

Куда дѣвался ея «задорный» видъ, когда она садилась со мной на ямщика! Что это предчувствіе или обычная дѣвичья пугливость? Какъ она была блѣдна, какъ стыдливо улыбалась и какъ безпросвѣтно подло смотрѣлъ я на нее!

Я-то зналъ, на что она ѣдетъ. Я-то зналъ, что не уйти ей отъ меня «такъ себѣ». Пусть преступленіе сдѣлаю, а ужъ такъ не выпущу, это я твердо тогда рѣшилъ. Да и къ чему преступленіе! Она желѣзныхъ дорогъ никогда не видала, а тутъ завести за тысячу верстъ—ну, значитъ, и дѣлай, что хочешь. Куда она пойдетъ? Небось, согласится на все.

О, какъ она была беззащитна и какъ разжигала до боли, до безумія меня эта беззащитность!

Всю дорогу я держалъ себя, какъ будущій «строгій баринъ». Я не позволялъ съ ней ни малѣйшей вольности, ни малѣйшей шутки. Я игралъ въ дьявольскую игру. Она начинала приходить въ себя, пріободрилась. Я видѣлъ это.

—А вотъ постой,—даже холодѣя весь отъ волненья, повторялъ я про себя:—постой, дай только привезти тебя!

И я исполнилъ то, что хотѣлъ!

Послушайте, господа. Мнѣ двадцать пять лѣтъ.

Всю свою жизнь,—вы знаете теперь это,—я безудержно разнузданно, извращенно мечталъ о женщинахъ. И вотъ только въ первый разъ въ руки мои попала женщина, которая изъ страха выносила все, что я хотѣлъ. И главное, которая не стала трупомъ для меня, послѣ перваго же прикосновенія и какъ это всегда бывало съ прочими. Господа, поймите и... нѣтъ; не простите, какое тамъ прощеніе, а признайтесь, вы-то на моемъ мѣстѣ какъ бы себя чувствовали, а?

Всѣ таковы, всѣ таковы—никому не вѣрю!

Почему она не стала противна мнѣ съ первой ночи? Потому что была красавица? Вздоръ! Я видѣлъ красавицъ и раньше. Я не могу дотрагиваться безъ отвращенья ни до чьей «говядины». Почему же она, почему?

Можетъ быть, передъ тѣмъ, какъ окончательно и навсегда погрузиться въ ту бездну, въ которой я теперь доживаю свою жизнь, мнѣ нужно было выбросить вонъ ту каплю жизни, пустой, животной, но все же жизни, которая таилась во мнѣ.

Не знаю! знаю только одно, что этотъ одинъ мѣсяцъ, который я прожилъ съ Мареой, былъ сплошнымъ кошмаромъ, безуміемъ, какимъ-то вихремъ дьявольскимъ. Всѣ двадцать пять лѣтъ жизни я взялъ отъ этого мѣсяца!

А взамѣнъ отдалъ послѣднюю жизнь свою,—скажетъ какой-нибудь чистенькій моралистъ.

Э, наплевать! кому и на что она нужна; развѣ *такая* жизнь могла спасти меня?

Итакъ, она была со мной, она была у меня! О будущемъ я не думалъ и не могъ думать.

Со дня пріѣзда ко мнѣ Марвы я не выходилъ изъ дому. Ни разу не былъ я и у Вѣрочки. Можно сказать, что я ни разу даже не вспомнилъ о ней.

Я не испытывалъ никакихъ «угрызеній», никакой жалости, никакихъ вообще «сантиментальныхъ» чувствъ. Въ простонародьи про меня сказали бы, что я «осатанѣлъ». Именно «осатанѣлъ»! Если бы кто-нибудь мнѣ тогда сказалъ про Вѣрочку, очень возможно, что я сразу даже не сообразилъ бы: о комъ собственно рѣчь. Не преувеличивая говорю.

И вдругъ Вѣрочка сама пришла ко мнѣ.

Видимо, она ничего не знала, она такъ радостно улыбнулась мнѣ, снимая свою маленькую круглую шляпку.

Я стоялъ посреди комнаты.

Вѣрьте, о, вѣрьте, что я пишу здѣсь сущую правду! Пусть ужъ всякіе тамъ спеціалисты да «рецензенты» копаются и выискиваютъ «литературные» промахи, а пошлые трусливые люди, бездушное ничтожество, спѣшатъ скорѣе назвать меня «дегенератомъ» и успокоиться, забиться глубже въ свою конуру!

Вы-то, вы, живые люди, живыя души—если такія есть,—вы-то повѣрьте мнѣ, повѣрьте всему, что я разскажу вамъ и прокляните меня серьезно, твердо, вдумчиво, какъ я этого заслуживаю.

О, если бы въ душѣ моей осталась хоть одна искра живой жизни, она сейчасъ разгорѣлась бы во мнѣ и я бы вмѣстѣ съ вами проклялъ самого себя.

Вѣрочка не хотѣла видѣть, что во мнѣ что-то недоброе; она соскучилась обо мнѣ. Двѣ недѣли не видалась. Ей улыбаться хотѣлось, ей ласки хотѣлось.

Она быстро сдѣлала ко мнѣ нѣсколько шаговъ. Но я такъ же быстро отступилъ назадъ и проговорилъ голосомъ, котораго самъ никогда не забуду.

По совѣсти говорю, я не увѣренъ теперь, что тогда я это сказалъ. Это *онъ* сказалъ.

—Постой... любишь-ли ты меня?

Она остановилась и умоляюще дѣтски смотрѣла на меня. Ей тяжело было, ей хотѣлось, чтобы все было хорошо. Не надо опять этой мучительной тяжести. Она такъ рада, что видитъ меня, наконецъ.

—Ну, люблю же...

—Нѣтъ, не «ну», а просто скажи, любишь-ли ты?

—Люблю,—шопотомъ сказала она; она всегда шопотомъ начинала говорить, какъ только слезы подступали къ ней.

—Если любишь, такъ все для меня сдѣлаешь?

Я самъ не зналъ еще, зачѣмъ задаю этотъ вопросъ. Такъ отъ злости, отъ мертвой пустоты своей задалъ его.

—Да,—прошептала Вѣрочка.

—Все?

—Все....

—Марѳа!—неожиданно для себя и тоже почему-то шопотомъ окликнулъ я.

Марѳа нерѣшительно взошла въ комнату.

—Разскажи, какъ мы провели сегодняшнюю ночь... Она хочетъ....

Марѳа молчала и растерянно глупо смотрѣла на меня... Вѣрочка слабо вскрикнула, точно ее ударилъ кто и подняла худенькую ручку, загораживаясь, какъ отъ удара:

—Постой, постой,—шипѣлъ я, не сходя съ своего мѣста: любишь, ну послушай.. Марѳа, я приказываю тебѣ.

Но тутъ произошло нѣчто безобразное.

Вѣрочка бросилась вонъ изъ комнаты, а я въ догонку ей сталъ кричать: ты думаешь, я любилъ тебя дохлую! Уходи прочь, не надо мнѣ тебя, уходи! . .

. . . . . .

Черезъ мѣсяцъ Марѳа ушла отъ меня.

Рано утромъ она пошла въ лавку и больше не возвращалась. Я до сихъ поръ не знаю, куда она дѣлась и добралась-ли до своей деревни.

Не выдержала. Слишкомъ было даже для нея!

Еще бы! Если бы вы только знали до какого разврата доходилъ я!

Хочется небось узнать? Я знаю, что хочется.

Я нисколько не уважаю васъ, «благосклонные читатели» моей исповѣди. Можетъ быть, даже презираю васъ.

Стану я расписывать вамъ, чтобы вы тутъ, отъ нечего дѣлать, смаковали мою грязь. Я-то грязь свою пропиталъ черною кровью сердца своего, а вы? Такъ, на даровщинку хотите? А есть что описывать! Но одна мысль, что вы станете «со вкусомъ» читать это, —вызываетъ во мнѣ злость и тошноту.

Да зачѣмъ «описывать»?

Довольно сказать, что Марѳа, покорная, забитая, напуганная, какъ собака,—не выдержала и ушла. Ушла безъ копѣйки денегъ на всѣ четыре стороны.

Съ васъ этого достаточно!

И вотъ я остался одинъ. Одинъ совершенно и, какъ мнѣ казалось, окончательно.

Я обезсилѣлъ. Онъ безраздѣльно воцарился во мнѣ

Нѣтъ словъ, нѣтъ силъ передать всю муку тягостной пустоты безнадежной, безысходной, окончательной, которая придавила во мнѣ каждый нервъ.

Не дай Богъ вамъ!—искренно говорю!

О комъ же было о другомъ вспоминать мнѣ въ это время, какъ не о Вѣрочкѣ?

Она одна любитъ меня по настоящему, она одна все можетъ простить. Я знаю это.

И вотъ я, запершись въ своей квартирѣ, можно сказать, не сходя со своего стула, не раздѣваясь, не ложась спать, сидѣлъ и ждалъ тупо, безсмысленно, не имѣя душевныхъ силъ заставить себя даже написать ей.

Я мечталъ о ней. Моя сентиментальная фантазія опять расцвѣла пышнымъ цвѣткомъ.

Вѣрочка приходила ко мнѣ такая нѣжная, ласковая, она цѣловала мой лобъ и говорила:

—Забудемъ все. Я люблю тебя. Я прощаю тебя. Будемъ жить счастливо, радостно. Ты перестанешь мучиться. Я знаю, что перестанешь! Ты найдешь, наконецъ, покой своей измученной душѣ. Мы будемъ съ тобой такіе счастливые, счастливые, какъ дѣти, какъ тѣ ласточки, которыя, помнишь, вызвали такой гнѣвъ въ тебѣ.

Она, тихо смѣясь, прижмется своимъ лицомъ къ моему лицу.

—Милая, родная моя Вѣрочка, приди ко мнѣ, спаси меня, прости меня, моя дѣвочка....

Я говорилъ это вслухъ и слова мои жутко звучали въ пустой темной комнатѣ.

IV.

Катакомбы.

Въ такомъ состояніи засталъ меня Николай Эдуардовичъ.

Одного его появленія было достаточно, чтобы сразу меня отрезвить.

Приходъ Николая Эдуардовича касался не меня, а господина моего, «Наѣздника» моего. Ну, онъ, разумѣется, сейчасъ же и пріободрился, и я, вымуштрованный актеръ, заговорилъ подъ суфлера.

Да, всѣ мои воспріятія отъ этого «Христосика» были всегда туманны и неопредѣленны. Но зато ничье присутствіе не заставляло меня съ такой опредѣленностью чувствовать самаго себя, съ такимъ напряженіемъ прислушиваться къ «легіону» голосовъ, которые окружали господина моего!

Вотъ, должно быть, почему, только увидавъ Николая Эдуардовича, я понялъ, что исторія съ Марѳой прошла для меня недаромъ.

Если въ ту далекую ночь, послѣ Евлампія, я сознался себя, то теперь, послѣ Марѳы, я окончательно внутренно опредѣлился.

Ужъ ничто не двоилось теперь во мнѣ. Всюду онъ былъ, я почтительно далъ ему дорогу и хотя еще могъ, какъ видно будетъ изъ дальнѣйшихъ моихъ похожденій, дѣлать попытки что-то отвоевать у него, но это были послѣднія судороги проколотаго существа; въ общемъ же я покорно наблюдалъ изъ ничтожнаго уголочка, куда онъ загналъ меня.

И наблюдалъ съ гордостью за силой, увѣренностью и цѣльностью господина своего.

Какой я былъ жалкій, ничтожный, мокрый какой-то, тамъ на стулѣ, въ пустой комнатѣ что-то хныкающій о Вѣрочкѣ, и какъ могучъ и блистателенъ былъ теперь онъ! Съ какой убійственной снисходительностью смотрѣлъ онъ на Николая Эдуардовича. Онъ чувствовалъ себя совершенно неуязвимымъ и не прочь былъ даже пожалѣть бѣднаго основателя «Союза христіанъ». Ему улыбаться хотѣлось.

Помню, именно такъ въ третьемъ лицѣ я и думалъ тогда.

— Я къ тебѣ прямо съ вокзала,—сказалъ Николай Эдуардовичъ:—поговорить нужно. Черезъ недѣлю учредительное собраніе. Люди, конечно, мы съ тобой близкіе, взгляды у насъ во многомъ сходятся, но все-таки передъ съѣздомъ хотѣлось бы, по крайней мѣрѣ, общими настроеніями подѣлиться. Вѣдь, объ общественныхъ вопросахъ мы съ тобой почти никогда не говорили.

— Намъ съ тобой легко это сдѣлать,—улыбнулся я:—мы понимаемъ другъ-друга безъ словъ, а вѣдь въ такихъ вопросахъ большая половина въ слова не укладывается.

— Это вѣрно, конечно. Да, такъ вотъ о настроеніяхъ. Здѣсь я очень много тебѣ сказать долженъ. И все о такихъ трудныхъ вещахъ. Видишь-ли, мнѣ кажется, нельзя по-христіански говорить объ общественныхъ настроеніяхъ и не говорить объ Антихристѣ.

— Да, я тоже думаю,—задушевнымъ ровнымъ голосомъ сказалъ я:—общественные вопросы для всякаго христіанина тѣсно связаны съ этимъ именемъ.

Поразительно я разыгралъ роль свою! Внутренно я ликовалъ. Право не лгу! Я нисколько не боялся. Повторяю, я сверху внизъ на него смотрѣлъ. Ничего, кромѣ остраго чувства задорнаго любопытства не было у меня въ первую минуту.

— Ну-ка посмотримъ, что Христосикъ обо мнѣ скажетъ, — грубо отчеканивая каждое слово, подумалъ я.

Николай Эдуардовичъ сидѣлъ нѣсколько секундъ

молча, потомъ всталъ и медленно сталъ ходить по комнатѣ. Онъ былъ блѣднѣе обыкновеннаго, хотя повидимому, спокоенъ.

— Видишь-ли, я хочу сказать тебѣ объ очень интимныхъ чувствахъ. Много я совершенно передать не въ силахъ. Но это не важно Ты поймешь.

Начну вотъ съ чего,—съ катакомбъ.

Когда я думаю о современномъ христіанскомъ движеніи, оно представляется мнѣ въ видѣ катакомбъ. Въ первые вѣка христіанъ гнали, запрещали служить истинѣ, поклоняться Добру. И вотъ христіане ушли въ землю. Они создали «подземный Римъ». Грубая сила врывалась туда, мучила, жгла, рѣзала, бросала въ тюрьмы, но подземная христіанская сила, сила Любви покорила грубую физическую силу. Катакомбы не только изрыли землю, они подрыли основаніе язычества.

Наше время кажется мнѣ поразительно похожимъ на ту эпоху. Также западная цивилизація изжила самое себя, такъ же носится въ воздухѣ предчувствіе новыхъ великихъ переворотовъ, такъ же ожесточенныя гоненія начинаются на христіанъ.

И вотъ рисуется мнѣ, что христіане воздвигнутъ себѣ новыя современныя катакомбы. Понимаешь, можетъ быть, не въ видѣ подземныхъ ходовъ, но съ тѣмъ главнымъ сходствомъ, что, какъ въ древнихъ подземныхъ катакомбахъ, въ нихъ будетъ воплощаться Христіанская Церковь, Вселенская, Соборная и Апостольская.

Теперь вотъ я и подошелъ къ той интимной сторонѣ, о которой хотѣлъ сказать.

Видишь-ли, такое предчувствіе близости новыхъ катакомбъ странно связывается у меня съ предчувствіемъ Антихриста...

Онъ остановился на минуту.

Я жадно слушалъ его. Точно онъ долженъ былъ раскрыть мнѣ тайну, которая во мнѣ же самомъ заключается.

— Это, знаешь, странное и мучительное чувство,— продолжалъ онъ:—не то, чтобы я это въ себѣ чувствовалъ, — нѣтъ, но всюду вокругъ. Словно гдѣ-то

тамъ, глубоко подъ всей землей, подъ всей жизнью что-то темное зрѣетъ, и готово выйти изъ бездны... Понимаешь-ли, въ природѣ, въ людяхъ, въ литературѣ, въ толпѣ, въ Церкви даже, да, да, и въ Церкви... Я,— какъ бы это тебѣ сказать, — улавливаю какія-то незримыя нити... понимаешь?.. Нити, которыя медленно, монотонно дѣлаютъ какую-то страшную свою работу. Плетутъ что-то!.. Голубчикъ, я самъ лично не знаю страха. Я чувствую, что Христосъ со мной, меня никто не тронетъ, мнѣ хорошо, радостно, уютно! Но я этотъ страхъ воспринимаю какъ-то объективно,— точно онъ, какъ ядъ, разлитъ по всему міру...

Вотъ тутъ и есть какая-то точка, гдѣ сходятся предчувствіе Антихриста съ предчувствіемъ катакомбъ.

Создадутся катакомбы. Будетъ съ кѣмъ сражаться. И вся эта неопредѣленная сила, неуловимая, все что-то плетущая, какъ будто-бы невзначай, разомъ явитъ себя міру. Во всемъ своемъ мишурномъ блескѣ, во всей своей поддѣльной красотѣ. Для всѣхъ это будетъ образъ человѣческій, и только для горсточки укрывшихся въ катакомбахъ будутъ видны подлинныя, страшныя черты колдуна!..

Онъ опять остановился и задумчиво поднялъ свои потемнѣвшіе глубокіе глаза на большой черный крестъ, который стоялъ въ углу моей комнаты.

Я ждалъ.

Не слова его поразили меня, а другое. Поразило меня то, что хотя я въ такихъ выраженіяхъ, въ такихъ образахъ никогда этого не думалъ, все же для меня здѣсь было знакомо каждое слово, точно я наизусть зналъ все, что говорилъ Николай Эдуардовичъ. Больше того,—точно это говорилось не о будущемъ, а о томъ, что уже было, и было именно такъ до мельчайшей черты.

Я не выдержалъ и сказалъ, сказалъ безъ всякой злобы, безъ всякаго задора:

— Я и думаю и чувствую буквально тоже!.. И неожиданно для самого себя прибавилъ: я даже думаю, что и сейчасъ есть носители духа Антихриста.

Николай Эдуардовичъ молча кивнулъ головой.

Меня подмывало спросить: кто побѣдитъ? Я зналъ, что отвѣтитъ Николай Эдуардовичъ, но мнѣ хотѣлось слышать это сказаннымъ вслухъ, любопытно было узнать: ч т о я въ это время почувствую. Пожалуй, даже было какое-то предчувствіе, что это какъ-то о с о б е н н о повліяетъ на меня.

И я спросилъ:

— Съ тобой, конечно, никогда не бываетъ, чтобы ты сомнѣвался, кто одержитъ побѣду?

Отъ волненья я съ трудомъ договорилъ фразу.

А онъ даже улыбнулся едва замѣтно, краешками губъ, но все же улыбнулся несомнѣнно. И, видимо, думая совсѣмъ о другомъ, не удостаивая даже остановиться мыслью на вопросѣ моемъ, съ какой-то дьявольской простотой сказалъ:

— Да, конечно, не бываетъ... Христосъ побѣдитъ Антихриста...

— Скажите пожалуйста!.. про себя воскликнулъ я, нарочно придумывая самый вульгарный, самый пошлый тонъ.

Да, «предчувствіе» не обмануло меня. Эти три слова — «Христосъ побѣдитъ Антихриста» — всколыхнули все во мнѣ до самой глубины душевной! Началось нѣчто до того мучительно-извращенное, о чемъ я и теперь не могу вспоминать безъ тупой, нестерпимой боли.

О, если бы я могъ уморить, выбросить вонъ чудовище, которое живетъ и властвуетъ во мнѣ. Если бы я могъ передать людямъ, какъ оно отвратительно!

Я не знаю, есть ли Богъ, но я нисколько не сомнѣваюсь въ Антихристѣ и ненавижу его всѣми силами своей души. Настолько же, насколько сначала любилъ за то, что онъ открылъ мнѣ «смыслъ жизни», настолько же потомъ возненавидѣлъ за то, что онъ обманулъ меня, поработилъ меня, съѣлъ все во мнѣ!

Я—Антихристъ, или вѣрнѣе, маленькая тепличка, гдѣ вскармливается одна милліонная доля страшной личинки, изъ которой родится онъ,—и вдругъ я ненавижу его! Я ненавижу самого себя!

Каламбуръ!

Глядя прямо на Николая Эдуардовича и стараясь даже улыбнуться, я сказалъ:

— Если ты чувствуешь такую близость Антихриста, то я въ такой же степени чувствую близость Христа. Что-то побѣдоносное, торжествующее, свѣтлое пронизываетъ міръ. Мнѣ кажется иногда, что вотъ-вотъ свершится чудо и все засмѣется.

Я чаще чувствую Христа и потому въ его побѣдѣ не сомнѣваюсь никогда. Мнѣ почти всегда хочется говорить: «Христосъ воскресъ!»

Если бы вы слышали, какъ радостно-восторженно говорилъ я эти слова, и если бы вы знали, какъ издѣвался я въ душѣ надъ Николаемъ Эдуардовичемъ, какъ кощунствовалъ надъ вѣрой его.

А вотъ попробуй, узнай; посмотрю я, откроетъ ли тебѣ твой Христосъ, что сейчасъ со мной происходитъ...

И глядя прямо въ его глаза, которыми онъ съ особенной любовью и лаской смотрѣлъ на меня, я сталъ мысленно говорить циничныя, безобразныя вещи. Въ нихъ почти не было никакого смысла. Да мнѣ и не надо было его. Мнѣ нужно было выдумать только какъ можно погрубѣе, какъ можно поотвратительнѣе.

— Ну, узнай, узнай,— твердилъ я, и снова нелѣпо и дико говорилъ ругательныя слова, старался представить женщинъ въ самомъ неистово-развратномъ видѣ и, смакуя каждое слово, все переплеталъ безсмысленно-грязными фразами.

О, какъ было жутко и въ то же время какъ было сладостно чувствовать себя всесильнымъ, свободнымъ, признающимъ только одного себя. Пусть попробуетъ какой-то тамъ Богъ сказать, что я сейчасъ мысленно дѣлаю съ той, которую встрѣтилъ тогда на улицѣ, еще обернулся и вслѣдъ ей смотрѣлъ... Ну-ка, запрети, ну-ка, узнай?... Прозорливецъ! Узнай, что я сейчасъ плюю на тебя. Ну, что же ты!...

— Это вѣрно. Христосъ чувствуется сильнѣе и ярче,—говорилъ Николай Эдуардовичъ:—настолько же, насколько сильнѣе и ярче жизнь по сравненію со смертью. Смерть и жизнь, — вотъ чѣмъ всего лучше подчеркивается разница существа Христа и Антихриста.

Я вздрогнулъ при этихъ словахъ отъ неожиданно-ревниваго чувства. Онъ, и вдругъ произноситъ слово—смерть.

— Да, это поразительно вѣрно, быстро подхватилъ я, поддѣлываясь подъ его тонъ: именно жизнь и смерть. Смерть это самая суть,самый основной корень Антихриста. Въ пророчествѣ о побѣдѣ Христа надъ смертью уже содержится пророчество и о побѣдѣ надъ Антихристомъ...

Мы оба замолчали и задумались. Впрочемъ, я ни о чемъ не думалъ, такъ только «мину» сдѣлалъ. Я наблюдалъ Николая Эдуардовича. Такъ должно-быть звѣри наблюдаютъ людей.

Въ немъ что-то происходило, я видѣлъ это.

— Да,- словно рѣшивъ что-то проговорилъ онъ: это такъ.

И вотъ, при мысли о катакомбахъ и объ ихъ роли въ борьбѣ съ Антихристомъ,—снова началъ онъ:—всѣ наши мысли объ организаціи принимаютъ совершенно особый оборотъ. Организація будетъ чисто внѣшнимъ условіемъ, посредствомъ котораго христіане будутъ узнавать другъ-друга. Но при этомъ постепенно будетъ образовываться религіозный центръ внутри организаціи, который создастъ новыя катакомбы.

Вотъ по этому поводу мнѣ тоже хотѣлось бы поговорить очень серьезно.

Видишь-ли, къ Церкви, къ реформѣ ея нужно подходить съ чистыми руками. Понимаешь, что я хочу сказать? Не то, чтобы тамъ теоретически признать себя грѣшнымъ, признать необходимость покаянія. Нѣтъ, нужно дѣйствительно сознать грѣхъ, дѣйствительно покаяться. Понимаешь, смиренно покаяться, до конца. И ужъ все тогда по новому!

У меня иногда бываетъ ужасное, прямое ужасное, —я не преувеличиваю, — чувство грѣховности. Такое жгучее, особенное совсѣмъ чувство. Тебѣ это навѣрно знакомо. Не своей только грѣховности, нѣтъ, — грѣховности вообще. И тогда всѣмъ существомъ своимъ понимаешь, какъ еще сильно зло и чувствуешь, что все оно увеличивается въ своей силѣ.

Онъ помолчалъ и шопотомъ повторилъ:

-- Мы страшно грѣховны...

И я замѣтилъ, что на глазахъ его блеснули слезы.

Я начиналъ испытывать растерянность и безпокойство. Мнѣ хотѣлось презрительно, даже злобно оттолкнуть въ душѣ все, что онъ говорилъ. Но вмѣсто этого я чувствовалъ, что выслушиваю все, какъ уличенный школьникъ.

Мнѣ было противно и жутко.

— Вѣдь, въ концѣ концовъ, различіе Добра и Зла устанавливается не философіей,—продолжалъ Николай Эдуардовичъ:—можетъ быть, умъ человѣческій никогда ничего окончательнаго здѣсь не найдетъ. Но кто хоть разъ почувствуетъ разницу между сладкимъ и горькимъ, тому никакихъ «теоретическихъ» доказательствъ не надо, что это не одно и тоже.

Кто хоть разъ сознаетъ грѣхъ, не какъ отвлеченное нарушеніе заповѣди, а какъ нѣчто органически недопустимое, другой природы, тому никто никогда не докажетъ, что Добро и Зло выдумали люди. Вотъ почему такъ поверхностны и безплодны всѣ эти «сомнѣнья», пока они въ области теоретическихъ препирательствъ. Тутъ на половину фразерства. Ужъ коли сомнѣваться, коли ужъ такой трудный путь предназначенъ, такъ сомнѣвайся самымъ страшнымъ сомнѣньемъ: потеряй ч у в с т в о этого различія, усумнись д у ш о й!

Здѣсь я не выдержалъ своей роли. Я почти выдалъ себя. Будь на его мѣстѣ кто-нибудь другой, можетъ быть онъ понялъ бы все.

Послѣднія слова Николая Эдуардовича были такъ неожиданны, такъ касались меня, были почти вызовомъ мнѣ, что я потерялъ самообладаніе.

Какъ! потерять «чувство» Добра и Зла, какой-то тамъ «путь»! Не къ Христу-ли ужъ!

Это было слишкомъ.

Я быстро всталъ съ дивана и, очутившись почти лицомъ къ лицу съ Николаемъ Эдуардовичемъ, грозно смотря ему въ глаза, проговорилъ:

— Это неправда... это никакой не «путь»... здѣсь власть Антихриста!..

На лицѣ моемъ дрожалъ каждый мускулъ. Я рѣзко повернулся, подошелъ къ окну и, прижавшись лбомъ къ стеклу, сталъ смотрѣть на мокрые тротуары.

— Ты прости меня... лучше не будемъ объ этомъ,— проговорилъ я сквозь зубы.

Николай Эдуардовичъ подошелъ ко мнѣ сзади, взялъ за плечи и, повертывая меня къ себѣ, ласково поцѣловалъ въ лобъ.

Я ужъ остылъ, не сопротивлялся. Мнѣ какъ-то сразу стало «все равно».

Ясно было, что онъ опять все понялъ по своему и ужъ, конечно, въ хорошую для меня сторону.

Да, воистину дана будетъ ему власть «вести войну со святыми и побѣдить ихъ»!

. . . . . .

И вотъ я опять одинъ. Въ комнатѣ почти темно. Только съ улицы мутный свѣтъ фонаря падаетъ туманнымъ пятномъ на стѣну. Уголъ, гдѣ стоитъ высокій деревянный крестъ, кажется такимъ чернымъ, чернымъ.

Снова та же пустота, одиночество, ненужность.

— Господи, что же такое «я«? Слабый, полумертвый уродецъ? Къ чему же я въ этой вселенной, для кого я?

Катакомбы... Антихристъ... возрожденіе... Добро и Зло... Я безсвязно, одно за другимъ, повторялъ эти слова. Но и они были такъ же пусты, ненужны, какъ и все въ моей душѣ.

Я машинально подошелъ къ кресту и взялся за него одной рукою.

Прямо передъ моими глазами былъ ликъ Христа, блѣдный и въ темнотѣ такъ похожій на покойника...

— Мертвецъ! Вѣдь и Ты мертвецъ?..

И вдругъ, не сознавая, что это такое происходитъ, я всталъ на колѣни передъ крестомъ и поцѣловалъ подножіе его. Снова всталъ и сталъ медленно одинъ за другимъ класть земные поклоны.

Не подумайте, ради Бога, что во мнѣ въ это время шла какая-нибудь «борьба», какіе-нибудь сложные «религіозные процессы». Ничего подобнаго. Наоборотъ,

я въ этомъ какъ-то совсѣмъ не участвовалъ и съ какой-то поразительной объективностью смотрѣлъ на самого себя. Сознаніе мое ухватывало все до мельчайшей подробности.

...Я въ углу... Зачѣмъ-то встаю на колѣни... полъ такой холодный... башмакъ одинъ непріятно скрипитъ... Какъ все нелѣпо! И зачѣмъ я это продѣлываю? Вѣдь это же игра,—для кого она?

Но я не могъ удержаться и все крестился, все цѣловалъ крестъ и прижимался лбомъ къ холодному полу.

Снова я посмотрѣлъ на образъ. Какое-то странное чувство пробѣжало во мнѣ. Что это?.. Не то воспоминаніе какое-то, не то просто такъ жутко стало.

Я остановился на минуту и, почти касаясь губами своими образа, сказалъ вслухъ:

— Господи, я знаю, что не вѣрю, не могу повѣрить, Ты знаешь, какой я. Спаси меня, спаси меня. Ты все можешь простить. Не могу быть другимъ, а все-таки прости: вѣдь Ты одинъ у меня, куда я пойду...

Холодно, было, тихо кругомъ. Усталый, брошенный, никому не нужный, я сѣлъ на постель и сталъ думать.

Впрочемъ, я не столько думалъ, сколько безсвязно вспоминалъ.

И вдругъ одно далекое воспоминаніе особенно ярко и неотступно встало предо мною.

Мнѣ было лѣтъ шесть. Я спалъ съ бабушкой. Комната была низенькая и всегда жарко, жарко натопленная.

Я проснулся среди ночи. Въ углу висѣло много иконъ. Лампадка особенно ярко освѣщала икону Воскресенія Христова. Икона была старинная и очень уродливая, особенно одинъ воинъ. Онъ стоялъ на колѣняхъ, странно дугой изогнувъ спину и схватившись обѣими руками за шею.

Бабушка спала крѣпко. Я долго внимательно смотрѣлъ на воина. Вдругъ внезапный острый страхъ пронизалъ меня. Я боялся дышать. И вотъ мнѣ стало казаться, что сейчасъ откуда-то съ потолка спустится

большой черный паукъ и укуситъ бабушку. Ошеломленный этою мыслью, на нѣсколько мгновеній я застылъ безъ движенія, но не выдержалъ и со страшнымъ крикомъ бросился обнимать бабушку.

Воспоминанье это словно толкнуло меня. Я быстро всталъ съ постели и снова подошелъ къ кресту.

Мнѣ молиться хотѣлось. Да, да, молиться Тому, Кому не вѣрилъ, Кого я не зналъ.

Нелѣпо,—но это такъ!

Зрѣлище, должно быть, было! Антихристъ на молитвѣ!

Я такъ жалокъ былъ себѣ, такъ хотѣлось мнѣ плакать, разсказать кому-нибудь все, все до самаго дна души; помощи просить, прощенья просить. И вотъ, я упалъ предъ крестомъ, жалкій Антихристъ, мертвецъ, уродъ, развратникъ, обманщикъ, сумасшедшій, дегенератъ... ну еще, что тамъ? Да, я упалъ и, валяясь на полу, цѣлуя и полъ и крестъ, безсвязно говорилъ Ему, распятому мертвецу, говорилъ о всѣхъ грѣхахъ своихъ!

— Господи Боже мой, помилуй мя грѣшнаго, помилуй мя... Да, да, развратилъ Марѳу, издѣвался надъ Вѣрочкой, всѣхъ надувалъ, какъ подлецъ, какъ мошенникъ, ходячій трупъ, Антихристъ. Но Ты Христосъ мой, Богъ мой, прости меня, спаси меня! Не могу я людей любить... не могу...

Все это я говорилъ искренно, по настоящему плача, клянусь въ этомъ. И въ то же время откуда-то изъ безпросвѣтной глуби, все же продолжая наблюдать за самимъ собою. Какъ я дико трусилъ тогда, что вдругъ и въ самомъ дѣлѣ Христосъ что-нибудь скажетъ мнѣ!

Напрасная боязнь! Христосъ молчалъ и преблагополучно висѣлъ на крестѣ.

Я тихо отошелъ прочь и, повернувшись къ Нему, какъ къ живому, внятно проговорилъ:

— Аминь!...

V.

Видѣніе.

Что я собственно хотѣлъ сказать словомъ «аминь»? Не знаю, право. Во всякомъ случаѣ здѣсь было желаніе выразить что-то о к о н ч а т е л ь н о е.

Но увы, этимъ дикимъ вечеромъ мои молитвенные «приступы» не кончились.

Весь слѣдующій день я находился въ странномъ и довольно неожиданномъ для меня возбужденномъ состояніи. Я чего-то ждалъ. Въ этомъ ожиданіи не было ничего опредѣленнаго, но какая-то глубокая и твердая увѣренность, что ждать есть чего.

Вечеромъ, первый разъ за цѣлый мѣсяцъ, я вышелъ на улицу. Я чувствовалъ себя, какъ послѣ тяжелой болѣзни. Свѣжій осенній воздухъ дурманилъ меня. Уличный шумъ казался особенно рѣзкимъ и вызывающимъ.

Мертвецы, подъ именемъ «прохожихъ», по обыкновенію куда-то спѣшили.

Какъ это они могли остаться совсѣмъ такими послѣ всего того, что со мной случилось!

Меня сразу поразило одно обстоятельство: церкви возбуждали во мнѣ совершенно особенное вниманіе. Раньше я никогда т а к ъ не смотрѣлъ на нихъ,—должно быть поэтому и не замѣчалъ, что ихъ такая масса. Я гулялъ не больше получаса и уже замѣтилъ пять-шесть церквей и часовенъ.

Шла какая-то служба. Черезъ рѣшетчатыя окна я видѣлъ красные огоньки восковыхъ свѣчей. Молились.

Больше всего, кажется, поражали меня не самыя церкви, а прохожіе, которые останавливались передъ ними и тутъ-же, на уличной трескотнѣ, крестились и клали поклоны.

Нелѣпо, но долженъ признаться, что около одной церкви я также снялъ шляпу и перекрестился. Зачѣмъ? Просто такъ, посмотрѣть, какъ это выйдетъ. Я оглянулся на прохожихъ. Они ничего, какъ будто бы такъ и быть должно: шелъ человѣкъ мимо церкви и перекрестился. Набожный, молъ, должно быть, изъ купцовъ, или изъ духовныхъ.

Мертвецы, мертвецы! Такъ, прикидываетесь только живыми, на тридцать лѣтъ прикидываетесь, а потомъ разомъ бухъ въ яму, и сразу обнаружится истинная «природа» каждаго.

И тутъ почему-то я вспомнилъ о мощахъ.

Я раньше никогда какъ-то о нихъ не думалъ. Мощи! Что это такое? Просто грубый обманъ или какой-нибудь «законъ природы»: тѣло не разрушается отъ какихъ-нибудь своеобразныхъ физическихъ условій?

Нѣтъ, я хотѣлъ бы сгнить! Ужъ лучше одинъ конецъ! А то лежитъ мертвецомъ долгіе, долгіе вѣка, сначала въ землѣ въ гробу, потомъ гдѣ-нибудь въ церкви. Страшно это. Все высохнетъ, окаменѣетъ, застынетъ... Особенно должны быть безобразны волоса на почернѣвшей, какъ земля, ксжѣ.

Я не могу бороться ни съ чѣмъ! Что придетъ въ голову, то и сдѣлаю: лишь бы для жизни опасности не было.

И вотъ на этотъ разъ мнѣ пришло въ голову нѣчто совершенно неожиданное и, пожалуй, даже кощунственное: увидѣть мощи.

Не соображая, не взвѣшивая, даже не отдавая отчета себѣ, какъ это я сдѣлаю, я быстро пошелъ по направленію монастыря, въ которомъ зналъ, что есть мощи.

Я шелъ и положительно съ изумленіемъ спрашивалъ себя: какъ это до сихъ поръ у меня не явилось такое желаніе? Какъ это можно было прожить столько лѣтъ, видѣть столько мертвыхъ лицъ и ни разу не посмотрѣть на мертвеца, оставшагося нетлѣннымъ?

Монастырь былъ открытъ. Я вошелъ въ пустую холодную церковь. Богомольцы безшумно, точно

тѣни какія-то, ходили въ разныхъ направленіяхъ. А вотъ возвышеніе, гдѣ покоится святитель. Цѣлые пучки ярко горящихъ свѣчей. Запахъ воска и ладона, а за маленькой конторкой сѣденькій маленькій монахъ.

Я всталъ и сталъ осматриваться. Тѣло святого было покрыто тяжелой парчей и только около рукъ виднѣлось черное отверстіе. Подошли двѣ старушки, поцѣловали это отверстіе звонко, такъ что раздалось по всей церкви. Послушникъ съ лѣстницей пришелъ изъ алтаря къ выходу.

Я стоялъ и ждалъ, съ любопытствомъ и нетерпѣніемъ разсматривая тяжелую парчу. Пришла еще молодая барыня, красивая и хорошо одѣтая съ мальчикомъ. Барыня крестилась, а мальчикъ косился на меня.

Я перевелъ свои глаза съ парчи святого на молодую женщину и посмотрѣлъ на нее нисколько не лучше, чѣмъ всегда смотрю на красивыхъ женщинъ. Мнѣ показалось, что и она посмотрѣла на меня такъ же. Я оглянулся на монаха и онъ тоже смотрѣлъ на нее и я увѣренъ, тоже мысленно, раздѣлъ ее, какъ и я. Мы оба слѣдили за движеніями ея, за тѣмъ, какъ она вставала на колѣни, граціозно, не забывая ни одной секунды, что она женщина.

Она купила свѣчку и, пахнувъ на меня хорошими заграничными духами, подошла къ святому. Приложилась, подняла и приложила мальчика и, мягко, красиво ступая, пошла къ выходу.

Темнѣло все больше и больше. Чтобы не обращать на себя вниманья, я отошелъ въ уголъ церкви. Богомольцы не приходили. Вотъ послѣдняя старушка вышла. Я видѣлъ сквозь стеклянную дверь, что послушникъ стоитъ на дворѣ и съ кѣмъ-то разговариваетъ. Я снова подошелъ къ возвышенію. Свѣчи пылали ужъ не такъ ярко, расплавленный воскъ тяжело капалъ внизъ. Старичекъ-монахъ сидѣлъ на стулѣ и, прислонившись къ стѣнѣ, дремалъ.

Я сталъ креститься и класть поклоны, а самъ искоса наблюдалъ. Тонкая жилистая шея его склонилась

на бокъ, старческій ротъ полуоткрылся, и я услыхалъ спокойное, ровное, негромкое дыханіе.

Старикъ заснулъ.

Я быстро оглядѣлъ всю церковь. Никого. Подхожу къ возвышенію. Я не узнавалъ себя, такъ проворны, легки, и главное, увѣренны были мои движенія. Менѣе, чѣмъ въ секунду, я поднялъ покровъ. Еще что то, еще что-то и увидалъ тонкую черную сухую руку, больше похожую на палочку; еще что-то снялъ я и на одинъ моментъ увидалъ лицо.. Да, это было несомнѣнно человѣческое лицо. Я не могъ разобрать его черты, но тонкій носъ бросался мнѣ въ глаза...

Такъ же быстро я все положилъ назадъ и сошелъ внизъ.

Монахъ спалъ. На дворѣ послушникъ все говорилъ еще. Никого не было.

Это было послѣднее, что я запомнилъ. А потомъ... потомъ произошло нѣчто поистинѣ «мистическое».

Называйте это, какъ хотите: галлюцинаціей, видѣніемъ, бредомъ. Объясняйте тоже, какъ хотите— наказаніемъ за кощунство, или слѣдствіемъ нервнаго потрясенія— не все ли равно какими словами называть это!...

...Я увидалъ большой роскошный храмъ. Народа масса. Все блеститъ золотомъ, горитъ тысячами огней.

Я стоялъ въ уголкѣ, но какъ-то такъ, что предомной разстилалось все.

Тихо, тихо... Пѣнія не слышно. Всѣ какъ-то странно быстро крестятся.

Медленно растворяются Царскія врата. Маленькій сѣденькій священникъ неподвижно стоитъ у алтаря, и двѣ черныя сухенькія ручки его подняты къ небу...

И вотъ изъ Царскихъ вратъ вышелъ онъ.

Я сразу узналъ его: это былъ Дьяволъ.

Страшно высокій, сѣрый, худой, съ приподнятыми, сутулыми плечами, измученнымъ, усталымъ лицомъ.

Я хотѣлъ кричать и не могъ. Ужасъ сковалъ меня. Медленно, съ усиліемъ передвигая большія костистыя ноги, онъ вышелъ на амвонъ и равнодушнымъ усталымъ взглядомъ обвелъ всѣхъ молившихся.

Нѣсколько секундъ онъ стоялъ неподвижно, глядя куда-то поверхъ толпы, и потомъ такъ же медленно пошелъ по церкви.

Онъ поразительно легко проходилъ между всѣми, хотя тѣснота была страшная. Громадная, сѣрая, худая фигура его точно плыла надъ моремъ человѣческихъ головъ.

Вотъ онъ все ближе, ближе... Подходитъ ко мнѣ. Кругомъ молятся, какъ ни въ чемъ не бывало. Снова приступъ нестерпимаго ужаса охватываетъ меня, но что-то душитъ горло и я снова не могу кричать...

Вотъ онъ.

Тусклый мертвый взглядъ. Трясущаяся усталая голова. Весь тяжелый, опустившійся, страшно худой...

Не глядя на меня, онъ проходитъ мимо. Я вижу передъ собой его мохнатую сутулую спину, и, главное это жалкое, усталое, почти человѣческое лицо.

Онъ обошелъ церковь и такъ же медленно снова, взошелъ въ алтарь.

И я увидалъ, какъ онъ подошелъ съ боку престола. Увидалъ, какъ нагнулась его сутулая худая спина... что это?... Онъ наклоняется надъ св. чашей... И я, едва сдерживая рыданья, вижу, какъ изъ глазъ его, по старческимъ, измученнымъ щекамъ, текутъ слезы и капаютъ въ святую чашу...

. . . . . .

Я очнулся на дворѣ. Вокругъ меня нѣсколько монаховъ. Старичекъ, который продавалъ свѣчи, поливалъ голову мою холодной водой.

Да, это было видѣніе! По крайней мѣрѣ въ первую минуту я былъ убѣжденъ въ этомъ. Но въ чемъ его смыслъ? Почему явился дьяволъ мнѣ и въ такомъ страшномъ, человѣческомъ образѣ? Зачѣмъ онъ шелъ по церкви, о чемъ плакалъ надъ чашей, и, главное, зачѣмъ показано все это мнѣ? Я ничего не понималъ тогда и ничего не понимаю до сихъ поръ.

Вы, можетъ быть, спросите: повліяло ли «видѣніе» на вѣру мою. Вѣдь нѣкоторое время я безусловно не допускалъ галлюцинаціи, значитъ дьяволъ былъ для меня во всякомъ случаѣ живымъ свидѣтельствомъ о

потустороннемъ мірѣ? Да, — и все-таки это не совсѣмъ такъ. Должно быть, вѣрой что-то другое зовется. По крайней мѣрѣ, видѣніе это, хотя я дѣйствительно Дьявола такъ и считалъ за Дьявола,—все-таки никакого «переворота» не произвело во мнѣ. Должно быть все разбивалось объ тогдашній мой индифферентизмъ. «Это меня не касается», должно быть парализовало то, что по логикѣ дѣйствительно, казалось бы, должно было имѣть роковыя для меня послѣдствія.

Повторяю, въ вопросѣ вѣры видѣніе никакого-значенія не имѣло. Но зато оно оказало другое и нѣсколько неожиданное дѣйствіе.

VI.

Познаніе Добра и Зла.

Да, очевидно, увидать Дьявола и не захотѣть плодовъ древа познанія Добра и Зла невозможно.

И я захотѣлъ! Захотѣлъ съ жадностью совершенно исключительной. Это была какая-то предсмертная тоска по различію Добра и Зла.

Отъ соленаго пить хочется. А мнѣ вотъ также отъ «видѣнія» захотѣлось, жгучей жаждой захотѣлось хоть на одну секунду почувствовать нутромъ, сущностью своей разницу между Добромъ и Зломъ.

— Можетъ, и впрямь я «душой усумнился» и это «путь» своего рода!—безъ злобы, скорѣе съ оттѣнкомъ иронiи подумалъ я.

А жажда все разгоралась съ каждымъ шагомъ моимъ.

И почему сѣрый, усталый, сутулый призракъ такъ пробудилъ во мнѣ эту тоску по невѣдомому мнѣ знанію? Я и тогда старался вникнуть въ это и теперь много передумалъ. Но мысли мои, какъ всегда не столько утвержденіе, сколько вопросъ.

Можетъ быть, тамъ, въ церкви, я находился, что называется, у кормила Зла,—за которымъ дальше сейчасъ же начинаются благовонныя поля Добра и «вѣчной гармоніи». Еще оставалась «послѣдняя точка» и вотъ шагни я черезъ нее, я разомъ, какъ утренними лучами солнца, былъ ослѣпленъ бы сіяніемъ Добра, и тутъ разомъ же понялъ бы, какое отличіе свѣта отъ тьмы. Если такъ, то и жажда отъ этого видѣнія не болѣе, какъ безсознательное предчувствіе изнуреннаго путника, что тамъ за послѣднимъ песчанымъ бугромъ пустыни разстилается таки прекрасное озеро прозрачной холодной воды...

Изъ этихъ полу-догадокъ, полу-фантазій, полуявныхъ несообразностей въ мозгу моемъ родилась безумная мысль. Называю ее безумной не по грѣховной смѣлости ея, (не диво быть грѣховно-смѣлымъ человѣку, который и грѣха-то никакого не чувствуетъ). Безумной она была по той скрытой надеждѣ что-то воистину познать, которая за мыслью этой въ серьезъ тогда шевельнулась во мнѣ.

Мысль была такая.

Можетъ быть, путь грѣха, которымъ иду я, приводитъ къ Добру только тогда, когда путь этотъ проходится до конца. Можетъ быть, для моего спасенія, для «святости» нужно, чтобы я сдѣлалъ самое грѣховное, что только есть, и тогда, наконецъ, въ ужасѣ отъ грѣха своего я отвернусь и глазамъ моимъ представится Божественная гармонія.

Не смѣйтесь, я искренно и серьезно такъ думалъ. Даже почти тѣми же словами.

Мысль моя съ такой-же быстротой, какъ пришла въ формѣ вопроса, съ такой-же и превратилась въ положительную увѣренность. И я, по обыкновенію своему, сейчасъ же заторопился весь и рѣшилъ немедленно, сію же минуту привести въ исполненіе.

Мнѣ опять казалось какимъ-то нелѣпымъ и ни съ чѣмъ несообразнымъ, что я до сихъ поръ не додумался до этого. Ну какъ же въ самомъ дѣлѣ? Ясно же, я окруженъ грѣхомъ, я весь въ грѣхѣ, весь во злѣ; куда не двинься, всюду, прежде, чѣмъ дойти до Добра, надо прорваться сквозь толщу Зла, до послѣдней точки его пройти. Надо не труся, не останавливаясь ни передъ чѣмъ, безъ всякихъ нелѣпыхъ колебаній итти вглубь того Зла, итти, и чѣмъ яснѣе будешь чувствовать, что углубляешься въ злѣ своемъ, тѣмъ итти смѣлѣй и безостановочнѣе.

Мнѣ начинало казаться, что уже какіе-то проблески Добра зашевелились внутри меня. Я почти торжествовалъ! Согрѣшить, согрѣшить, во что бы то ни стало самымъ страшнымъ, самымъ темнымъ грѣхомъ.

Могъ-ли я думать о томъ, какой это будетъ грѣхъ! Онъ долженъ превосходить всякое разумѣніе человѣческое, всякую злую человѣческую волю. Такой грѣхъ вдругъ, самъ является. И я ждалъ, что мнѣ сдѣлается ясно, что именно нужно сдѣлать, чтобы переступить послѣднюю точку.

Но куда же итти? Гдѣ это свершится?

Домой? Опять въ полное одиночество, въ эту опротивѣвшую комнату, гдѣ я столько хныкалъ и причиталъ? Или такъ и стоять на улицѣ, стоять и ждать. Или ужъ въ питомникъ грязи и безобразія, въ какой-нибудь притонъ, въ какой-нибудь «садъ» съ увеселеніями...

Я нанялъ извощика и поѣхалъ.

Сезонъ почти уже кончался и народа въ «саду» было мало. Я прошелъ черезъ сырыя аллеи, освѣщенныя холоднымъ электрическимъ свѣтомъ, въ «закрытый театръ». Тамъ народа было больше.

Представленіе уже началось.

Чувствуя неловкость во всемъ тѣлѣ и невольно мѣняя походку, прошелъ я вдоль длиннаго партера, показавшагося мнѣ безконечнымъ, къ своему мѣсту въ первомъ ряду.

На сценѣ полуголая шансонетка что-то пѣла по-французски.

Я сѣлъ и, деревенѣя все больше и больше, впадая въ свое обычное мертвенно-автоматическое состояніе, сталъ развязно оглядываться по сторонамъ. Даже посвисталъ немножко въ тонъ оркестру.

Въ первомъ ряду я былъ одинъ, и, почему-то долго не рѣшаясь глядѣть на сцену, я долженъ былъ сидѣть въ полъ-оборота, чтобы нелѣпо не уставляться въ пустыя стулья.

Шансонетка кончила. Нѣсколько хлопковъ. Чей-то хриплый голосъ сверху крикнулъ браво. Вышла другая.

Я повернулся и сталъ разсматривать ее гораздо циничнѣе, чѣмъ мнѣ этого хотѣлось.

Она была совершенно раздѣта, короткое красное трико туго обтягивало ее и позволяло видѣть все. Она была красива и сложена въ «моемъ вкусѣ». Впрочемъ, у всѣхъ мужчинъ одинаковый вкусъ. Влюбляться,

разумѣется, въ разныхъ, но женщинъ «вообще» всѣ любятъ одинаковыхъ.

И пусть мнѣ не возражаютъ—все равно не повѣрю. Всѣ какъ, воры прячутся, комедію разыгрываютъ, а на умѣ у всѣхъ одно: и у моралистовъ, и у проповѣдниковъ, и у студентовъ, и у офицеровъ, и у ученыхъ, и у общественныхъ дѣятелей.

Она плясала, показывая то, что, она прекрасно знала, любятъ всѣ безъ исключенія. Когда она наклонялась, трико почти лопалось на ней и мужчины стучали палками въ знакъ своего одобренія.

Я невольно осмотрѣлъ залъ, и сразу мнѣ стала противна, злобно-противна эта скотская похоть, эта голая продажная дѣвка, которая всѣмъ, всѣмъ безъ исключенія, позволяетъ смотрѣть на себя.

Мечты, какъ искры, вспыхнули во мнѣ.

О, какой эффектъ, встать и сказать громовую рѣчь о томъ, какъ осквернили они красоту, какъ забрызгали грязью женщину, затоптали чистоту и цѣломудріе! Наполнить ужасомъ и смятеніемъ сердца всѣхъ этихъ самодовольныхъ, развратныхъ, пошлыхъ самцовъ, которые осмѣливаются такими подлыми глазами смотрѣть на ея танцы.

Сказать, что они не смѣютъ, не достойны видѣть ея прекрасной наготы, ея святого роскошнаго тѣла.

О, какъ струсили бы они всѣ, когда я заговорилъ бы о близости смерти каждаго изъ нихъ, какъ восторженно смотрѣли бы на меня эти несчастныя рабыни, которыя за деньги отдаютъ себя на позоръ.

А она, роскошная, голая танцовщица остановилась бы съ недоумѣніемъ на эстрадѣ и, закрывъ лицо руками своими, устыдившись своей наготы, бросилась бы въ уборную, чтобы прикрыть себя.

—Браво, браво,—кричали со всѣхъ сторонъ.

Она улыбалась, кланялась низко, неестественно,—только, чтобы показать получше публикѣ свою грудь.

Ну гдѣ же, гдѣ настоящій грѣхъ?

Я все это знаю, все, въ тысячу разъ худшее, чѣмъ они. Все дѣлалъ. Гдѣ-же окончательная, послѣдняя точка грѣха? Ну, хорошо, пойду въ отдѣльный кабинетъ, напьюсь пьянъ; ну, развратъ, грязь, безстыдство! А Марѳа? Что послѣ тѣхъ ночей здѣшнія игрушки? Можетъ ли быть въ развратѣ «послѣдняя» точка? Развѣ еще не весь его прошелъ я? Развѣ не все равно, здѣсь, или дома. Не одна, а десять? Крестьянская дѣвка, или блестящая кокотка? Такъ что-же, что-же наконецъ, сдѣлать мнѣ? Убійство? Я мысленно представилъ себѣ и подумалъ: могу, да, могу и убить. Только противно: кровь, мертвое тѣло. Значитъ не здѣсь. Ну, обида, несправедливость, оскорбленіе? Что же, о Господи, что же, наконецъ?

Я вышелъ въ садъ. Съ открытой сцены доносился рѣзкій дребезжащій голосъ клоуна.

Вдругъ распахнулась боковая дверь и изъ нея вышла танцовщица, которую я только что видѣлъ. Высокая шляпа и узкое кисейное платье измѣнило ее, но все же это была, несомнѣнно, она.

Я пристально посмотрѣлъ на нее, она и не думала отворачиваться и даже, какъ мнѣ показалось, улыбнулась мнѣ.

Я машинально сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ ней. И, глядя въ упоръ, отрывисто сказалъ:

— Хотите ужинать?

Она пріостановилась, быстро осмотрѣла меня смѣющимся опытнымъ взглядомъ и, сильно картавя, пѣвучимъ голосомъ проговорила:

— Съ удовольствіемъ, я устала, а вы положительно недурны и... comme il faut... въ вашемъ лицѣ что-то есть...

— Однако, вы философъ не хуже меня, — неловко улыбаясь, сказалъ я.

Она засмѣялась, и продолжая грубо разсматривать мое лицо, говорила:

— Вотъ странно, глаза у васъ такіе серьезные, точно вы ученый или правда философъ, а какъ будто бы не похоже...

— Почему?

— А губы-то у васъ какія!.. захохотала она и взяла меня подъ руку.

Точно холодный токъ пошелъ по моему тѣлу отъ этого прикосновенія. Я торопливо, даже рѣзко высвободилъ руку и, растерянно глядя по сторонамъ, сказалъ скороговоркой:

— Одну минуточку... подождите, я сейчасъ найду своего знакомаго и скажу ему, чтобы онъ меня не ждалъ.

Не дожидаясь отвѣта, я круто повернулъ въ сторону и пошелъ въ глубь сада.

Желтые блестящіе листья кружились въ воздухѣ и медленно ложились по дорожкѣ; нѣсколько гимназистовъ въ высокихъ воротничкахъ съ хлыстиками прохаживались по скучнымъ пустымъ аллеямъ.

Я почти бѣгомъ повернулъ къ выходу. Да, безъ преувеличенія могу сказать,—послѣдняя точка была близка отъ меня! Но увы, не послѣдняя точка грѣха, а умоизступленья!

А что, если бы и въ самомъ дѣлѣ съ ума сойти, только окончательно, и тамъ въ безуміи перенестись въ какой-нибудь райскій садъ, гдѣ нѣтъ «ни печали, ни воздыханій?»

Да нѣтъ, вотъ кому слѣдовало бы сойти, все переноситъ въ трезвомъ умѣ!

Но все же до послѣдней точки дошелъ я. Еще бы! Вѣдь, можно сказать, разомъ рухнули мои послѣднія надежды!

Никакой послѣдней точки грѣха вовсе нѣтъ, потому что и грѣха вовсе нѣтъ — вздоръ все! И могъ бы пойти поужинать и «десятокъ» бы повелъ съ собой. И убилъ бы, и изнасиловалъ бы, и оскорбленіе нанесъ,—все можно, все! И нѣтъ никакой точки, нигдѣ нѣтъ, ни въ чемъ нѣтъ. А коли нѣтъ, такъ и добра никакого не существуетъ.

— Такъ неужели же я еще жить буду? И куда итти теперь? Только не домой, только не домой,—съ ужасомъ подумалъ я.

Господи, и опять будетъ тянуться время, тихо, часъ за часомъ, тоскливо и неизбѣжно. Заснуть бы, одервенѣть бы какъ-нибудь, въ истукана какого-нибудь превратиться.

Дребезжатъ пролетки и каждый звукъ, какъ игла, вонзается въ мозгъ.

— Ну, что жъ теперь? — и я даже остановился. Но нельзя стоять! Надо итти, надо жить, надо мучиться, зачѣмъ-то надо, надо и надо!

Я дошелъ до какого-то бульвара, сѣлъ на первую попавшуюся скамейку и рѣшилъ сидѣть, покуда не прогонитъ сторожъ.

Вотъ тебѣ и познаніе Добра и Зла! Мразь какая-то...

VII.

Молитва.

Должно быть я заснулъ. По крайней мѣрѣ, очнувшись, я увидалъ около себя сторожа, который смотрѣлъ на меня положительно съ любовью и говорилъ:

— Ну, баринъ, теперь на службу пора.

Я всталъ и поплелся «на службу». Поплелся безсмысленно «жить».

Рано было. Часовъ, самое большее, семь. Въ церквахъ звонили.

— А что,—подумалъ я,—пойти въ церковь, такъ, хоть для разнообразія.

Я вспомнилъ про «святого», мощи и сразу рѣшилъ пойти въ тотъ монастырь. Ни за чѣмъ!—такъ просто пойти. Оказалось, что я былъ отъ монастыря совсѣмъ близко. По мѣрѣ того, какъ я подходилъ, меня начинало разбирать любопытство: не случится ли тамъ еще со мной что-нибудь «необыкновенное». Говоря по правдѣ, «необыкновеннаго» на этотъ разъ ничего не случилось. Если не считать такимъ самое это хожденіе Антихриста «ко святымъ мощамъ».

Шла служба, народа было довольно много. Церковь имѣла совсѣмъ другой видъ, чѣмъ вечеромъ. Она скорѣе похожа была на ту, которую я «видѣлъ». Мнѣ даже на минуточку показалось, что и въ самомъ дѣлѣ это та самая церковь. Я такъ былъ настроенъ, что въ ту минуту ничему не удивился бы. Ну, та—и прекрасно!

Я протискался къ знакомому возвышенію, къ знакомому тяжелому покрывалу изъ парчи съ вырѣзаннымъ чернымъ отверстіемъ. Свѣчи цѣлыми снопами

пылали со всѣхъ сторонъ. Даже мнѣ почудилось что-то радостное въ этихъ яркихъ огненныхъ языкахъ.

Пѣли херувимскую. Многіе, по преимуществу женщины, стояли на колѣняхъ. Священникъ въ алтарѣ приподнималъ руки и сзади риза такъ странно оттопыривалась горбомъ: мнѣ почему-то это съ дѣтства чрезвычайно нравилось.

Мнѣ хорошо было.

За ночь я страшно озябъ, а тутъ такъ тепло. Немного клонило ко сну, отъ ладона пріятно кружилась голова, и все точно покачивалось вокругъ.

Хоръ былъ небольшой, но пѣлъ складно и, какъ мнѣ показалось, даже съ нѣкоторымъ чувствомъ.

— А вдругъ изъ алтаря опять выйдетъ о н ъ? безъ всякаго страха подумалъ я, и какъ-то безсильно прибавилъ:—ну и пусть, и Господь съ нимъ.

— «Всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе!» донеслось до меня сквозь синій дымъ ладона.

— Такъ бы всегда, такъ бы всю жизнь...

«Всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе»... И, твердо смотря на черное отверстіе въ парчѣ святого, я торопливо сталъ про себя читать молитвы, не останавливаясь и быстро, быстро крестясь.

— Господи, разучился я молиться, но Ты научи меня, научи, Господи! Хочу я воскреснуть душою... Господи, видишь, что хочу... Хочу чистымъ быть, хочу, какъ мальчикъ быть... чтобы стыдно стало... Женщинъ не знать... Тебѣ, Господи, служить хочу...

.... Дай мнѣ вѣру, дай мнѣ силы... Спаси меня. Призови меня къ покаянію, научи Добру. Я усталъ, Господи, я чувствую, что разлагается душа моя. Ты одинъ можешь спасти меня, знаю, что только Одинъ Ты!

— Кому это ты молишься? Ужъ не этому ли черному трупу,—кощунственно-дико врѣзался откуда-то вопросъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, это грѣхъ, грѣхъ такъ думать... Господи, спаси меня, Господи, спаси меня, — еще настойчивѣе твердилъ я:—это врагъ Твой искушаетъ

меня... Спаси меня. Ты можешь. Ты спасешь... Ты все можешь! Больше не буду я лгать... Господи, спаси меня отъ развратныхъ помысловъ, отъ всего спаси. Господи мой, Господи!

— Что это за чепуху я бормочу. Нелѣпость какую-то... спать хочется...

— Господи, прости... Ты видишь, что не я это... Господи, я мучаюсь, Ты видишь. Успокой меня, дай вѣру!..

И снова такъ хорошо, тепло стало мнѣ, снова заколебалось все вокругъ, и изъ глубины синяго душистаго ладона ласково, ласково пѣли:

«Всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе»...

...Я маленькій, маленькій былъ, въ синей рубашечкѣ; бабушка утромъ одернетъ ее и скажетъ: ну, Ленточекъ,—она почему-то меня звала такъ: теперь молись Богу.

— Я вмѣстѣ хочу!

— Ну, хорошо, вмѣстѣ давай.

— Нѣтъ, ты постой, ты меня на руки себѣ возьми.

— Будетъ шалить-то, видишь, ты какой тяжелый.

— Ну, милая, ну, бабушечка, возьми, такъ лучше.

«Всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе»...

Господи, плакать хочется... Хорошо мнѣ, Господи. Спаси меня. Пусть такъ всегда... всегда имѣли бы, всегда бы ладонъ, всю бы жизнь такъ. Господи, о, какъ усталъ я, возьми меня къ Себѣ, какъ бабушка, на руки хочу...

...Она въ Вятку ѣздила. Какъ мы ждали ее, каждый день, съ утра на лавочкѣ за воротами. Поле широкое, дорогу видно за нѣсколько верстъ. Ѣдетъ, ѣдетъ! Бабунчикъ ѣдетъ. Я впереди всѣхъ. Маленькій худенькій, шапка въ траву слетѣла. Вотъ и она. Милая, добрая, бабунчикъ мой! Ужъ и цѣлуетъ, и цѣлуетъ волосы, глаза... Что же ты плачешь, глупый, ну, на тебѣ грушу!

Я не слушаю, мнѣ такъ жалко, такъ жалко чего-то.

— Бабунчикъ, ты навсегда теперь къ намъ, навсегда!—сквозь слезы шепчу я ей на ухо.

— Ахъ, ты милый мой, ненаглядный внучекъ мой, Господь съ тобою, полно. Ну, конечно, навсегда...

— Господи, Боже мой, не хочу я больше быть Антихристомъ, не надо, возьми меня къ Себѣ, возьми Господи, Господи, развѣ я не маленькій, не худенькій внучекъ Твой? Приди же ко мнѣ, приди же ко мнѣ, приди навсегда, не оставляй меня. Больше не въ силахъ я быть одинъ...

Кончили. Священникъ рѣзко задернулъ занавѣску. По церкви прошло движеніе.

— Точно войску «вольно» скомандовали, подумалъ я.

— Такъ и останешься одинъ,—грубо прервалъ я себя: некому приходить къ тебѣ. Не Христосъ-ли ужъ въ самомъ дѣлѣ: Богъ въ человѣческомъ тѣлѣ! Вотъ разнюнился! Никто не придетъ, никто! Пустое мѣсто тамъ, вотъ такая же черная дыра, какъ въ парчѣ святого,—сушеный трупъ тамъ, и ничего больше. Богъ твой ѣлъ, пилъ, спалъ, всѣ «функціи» совершалъ,—ну, значитъ, по всѣмъ правиламъ искусства и разложился. Никого и ничего нѣтъ. Будетъ дурака-то ломать.

— Господи, отгони отъ меня, это врагъ...

— Э, будетъ: врагъ, врагъ, отгони, отгони! Кого отгони? Развѣ не самъ я все это говорю? И то самъ, и это самъ. Тамъ самъ разнюнившійся, а тутъ въ здравомъ умѣ и трезвой памяти. Больше ничего.

— Господи!..

— А то, пожалуй, помолись, помолись. Посмотрю я, какъ Онъ придетъ къ тебѣ. Пусть придетъ — я первый Осанна запою. Нѣтъ, братъ, кабы дѣйствительно пришелъ, всѣ бы увѣровали, да и какъ не увѣровать. Себя возьми. Развѣ не увѣровалъ бы? А коли всѣ вѣру потеряли, значитъ ни къ кому не приходитъ! Понадѣлали деревяшекъ и молятся. Ишь какая—толстая на колѣни встала... Раздѣть бы...

— Спаси, Господи... хочу...

Довольно, вѣдь ужъ и самъ видишь, что никто не придетъ. Подумай только, изъ-за чего разнюнился:

дымъ этотъ — обыкновенный ладонъ, въ лавочкѣ купленъ, угли изъ печки. Хоръ-не ангельскій, а изъ послушниковъ, которые на женщинъ съ клироса посматриваютъ и подъ херувимскую раздѣваютъ ихъ за милую душу. Священникъ тоже простой попъ, придетъ и попадью свою станетъ щупать. А все твое хныканье еще того проще объясняется: не спалъ ночь, иззябъ на бульварѣ... Эхъ, дуракъ, зачѣмъ вчера изъ сада убѣжалъ. Какъ бы ночь-то провелъ. Небось, танцовщица мастерица своего дѣла.

Уходи-ка отсюда поскорѣй. Предоставь ужъ толстымъ бабамъ передъ пустой черной дырой на землѣ валяться. А тебѣ не къ лицу. Ты понялъ истинный смыслъ жизни. Тяжело это: ну, а ты неси,—за всѣхъ неси!

Я окончательно пришелъ въ себя и тупо—холодно осматривалъ церковь.

Крестились набожно, по прежнему многіе стояли на колѣняхъ. Но лица показались мнѣ нерадостными, утомленными, скучающими, никакого «попеченія» не отложившими.

И зло меня взяло на себя, что я такъ по-мальчишески глупо чуть не разревѣлся и въ какого-то Бога увѣровалъ, вообще «взмолился».

Ну, ужъ это было послѣдній разъ, — оправдывался я передъ собой. «Аминь», — теперь по настоящему, навсегда, до гроба...

А все-таки приложусь «на прощанье». Нарочно, на зло. Не вѣрю, не люблю, въ грязи весь и вотъ подойду, какъ всѣ, глупую рожу скорчу и «благоговѣйно» приложусь.

Я все это продѣлалъ и пошелъ вонъ изъ церкви.

VIII.

Неожиданный посѣтитель.

Дома меня ждалъ сюрпризъ.

— Васъ какой-то незнакомый баринъ дожидаются,—сказалъ мнѣ швейцаръ.

Вотъ еще напасть!

Незнакомый баринъ оказался нѣкіимъ Глѣбовымъ, товарищемъ моимъ по гимназіи.

Съ перваго класса мы молча и упорно ненавидѣли другъ друга. Онъ былъ очень ограниченный и испорченный мальчикъ, съ третьяго класса таскавшійся по всевозможнымъ притонамъ. Между нами не было ничего общаго. Я презиралъ его за «безнравственность», онъ за мое «христіанство». Послѣ гимназіи я ни разу не встрѣчался съ нимъ.

И вдругъ Глѣбовъ, напомаженный, въ пенснэ, сидитъ и дожидается меня.

Съ полнымъ недоумѣніемъ я подалъ ему руку.

— Я къ тебѣ по одному странному дѣлу, гадко улыбаясь и выставляя рядъ черныхъ гнилыхъ зубовъ, началъ онъ. Если хочешь, разумѣется, можешь со мной объ этомъ не говорить, хотя, конечно, какъ христіанинъ, врядъ-ли ты прогонишь въ нѣкоторомъ родѣ своего ближняго!

— Я слушаю и если могу чѣмъ-нибудь помочь...

— Нѣтъ, какая тамъ помощь,—хихикнулъ онъ: я къ тебѣ съ вопросомъ.

— Все равно. Если могу отвѣтить, разумѣется, отвѣчу.

— Предупреждаю, что вопросъ интимный и, такъ сказать, тебя лично касающійся. Но прежде я долженъ объяснить, почему собственно рѣшилъ съ этимъ вопросомъ притти.

Видишь-ли, скрывать мнѣ нечего, я какъ тебѣ извѣстно, терпѣть не могу христіанъ. Проще говоря, никакому христіанству я не вѣрю. И твоему въ частности. Ты всегда гордился своей чистотой и презиралъ нашу компанію, помнишь еще которую «санкюлотной» прозвалъ. Конечно, ты имѣлъ право, христіанинъ все можетъ! Я въ нѣкоторомъ родѣ спился теперь, а ты, какъ истинный христіанинъ, чуть не профессоръ... И вотъ сдѣлай кто-нибудь какую-нибудь мерзость, я бы плюнулъ и все тутъ. Ну, мерзость и мерзость. Самъ таковскій...

— Я очень хорошо понимаю тебя. Спрашивай, пожалуйста, о чемъ хочешь.

Онъ широко улыбнулся своимъ чернымъ ртомъ и просіялъ весь, только въ самой глубинѣ глазъ его вспыхивали и гасли злобные огоньки.

— Я же увѣренъ былъ, что ты, какъ христіанинъ, не оттолкнешь моего искренняго недоумѣннаго вопроса!

Итакъ «дѣло» въ слѣдующемъ. Вчера вечеромъ я, такъ сказать, въ силу чистѣйшей случайности, былъ свидѣтелемъ твоихъ похожденій... Ты, и вдругъ въ такомъ «заведеніи»! Отъ неожиданности я не поклонился. Растерялся въ нѣкоторомъ родѣ. Ну, а потомъ,— подмигнулъ онъ мнѣ:—какъ ты заговорилъ съ m-elle Фанни, я уже не рѣшился подойти. Вѣдь съ нами такія не разговариваютъ. Эти Фанни меньше, чѣмъ сотню за «сеансъ» не берутъ... Такъ вотъ взяло меня сомнѣніе. Пойду, думаю, спрошу, какъ это христіанскій проповѣдникъ и вдругъ очутился подъ ручку съ Фанни? Можетъ быть, по порученію какой-нибудь «арміи спасенія», или такъ, по своей надобности,—снова сіяя и подмигивая, и почти шопотомъ выговорилъ онъ.

Нѣсколько секундъ мы сидѣли молча. Признаюсь, первое движеніе мое было, схватить и вышвырнуть вонъ эту гадину. Но я не очень-то способенъ на такіе «благородные» порывы, а потому намѣренія своего въ исполненіе не привелъ, а вмѣсто этого почти ласковымъ тономъ сказалъ:

— Я не совсѣмъ понимаю, что тебѣ хочется знать

съ какими намѣреніями я разговаривалъ съ Фанни, или вообще, какъ можетъ христіанинъ ходить по такимъ «мѣстамъ»?

На первое я тебѣ не отвѣчу, потому что это касается не одного меня,—солгалъ я:—могу только успокоить тебя, что ничего дурного не было, въ чемъ ты можешь удостовѣриться хотя бы изъ того, что я ушелъ отъ нея. Ну, а на второй вопросъ готовъ отвѣтить...

— Великолѣпно!—воскликнулъ Глѣбовъ,—ты ужъ меня въ нѣкоторомъ родѣ успокоилъ, а вѣдь я грѣшнымъ дѣломъ, когда ты отошелъ-то отъ нея вчера, подумалъ, что вы въ цѣнѣ не сошлись. Ужъ очень видъ у тебя пришибленный былъ, сіялъ Глѣбовъ: ужъ будь отецъ родной, не оставь и насчетъ «вообще» христіанъ, т. е. какъ это они въ кафе-шантаны попадаютъ. Успокой грѣшную душу. Вѣдь мы, окаянные, вашей праведностью только и живемъ. И вдругъ соблазнъ такой!

Я всталъ. Во мнѣ не было ни малѣйшаго сомнѣнія, что Глѣбовъ просто издѣвается надо мной. Но по какой-то странной причинѣ Глѣбовъ для меня разомъ превратился въ символъ, точно за нимъ стояло что-то дѣйствительно важное и неотступное, что-то такое, чему я обязанъ былъ дать отпоръ. Вопросъ оскорбилъ меня такъ, какъ онъ не могъ бы оскорбить, будь Глѣбовъ для меня просто Глѣбовымъ... Ну, пусть, я христіанинъ и пошелъ въ кафе-шантанъ, взялъ себѣ пѣвичку... отрекся отъ всѣхъ своихъ святителей. Пусть такъ. Я заплачу за это гибелью своей, страданіемъ своимъ. Самъ дамъ отвѣтъ Богу въ грѣхахъ своихъ, а не какому-то тамъ Глѣбову!

И забывая, кто сидитъ предо мной, не глядя въ пьяное, напомаженное, злобной веселостью сіявшее лицо, съ трудомъ владѣя собой, я сказалъ:

— Ты хочешь знать, какъ христіане попадаютъ въ кафе-шантаны? Я знаю, зачѣмъ ты спрашиваешь и что ты спрашиваешь. Ты хочешь облить и хъ грязью и сказать, что и они, какъ всѣ!

Да бываетъ, что и христіане предаются разнузданному разврату, можетъ быть, такому, который не

снился другимъ людямъ. Но знаешь-ли ты, сколько страданія несутъ они туда? Можешь ли ты, самодовольный прожигатель жизни, понять, сколько мукъ, кровавыхъ слезъ пролито ими?..

Я знаю, зачѣмъ ты пришелъ. Ты хочешь сказать, что я грѣшникъ? Что жъ—я принимаю твой вызовъ и прямо, не отпираясь заявляю: да, да, грѣшникъ, падалъ хуже всякаго изъ васъ, какъ разбойникъ, падалъ, но и какъ разбойникъ воскресалъ.

Я входилъ въ роль. Я лгалъ. Я никогда не воскресалъ. Но какая-то правда была же въ моихъ словахъ! Какую-то завѣсу приподнималъ же я съ своей души! Я вдохновенно говорилъ, властно. Даже Глѣбовъ притихъ. Я видѣлъ это.

— Я разъ на всегда скажу тебѣ и всѣмъ обличителямъ своимъ,—грозно продолжалъ я:—вы—ничтожные, жалкіе моралистики, съ аршиномъ копающіеся у моихъ ногъ и вымѣривающіе, подхожу-ли я къ христіанству, вы—подлые паразиты, питающіеся моими муками, которыя я несу за васъ и за многихъ.

Да, вы не знаете грѣха! Вамъ легко мѣрить аршинами и вершками, потому, что вы никогда, слышите, никогда не подымались изъ грязи. Вы не падали низко, потому что не откуда падать вамъ—вы вѣчно копаетесь въ грязи. А если бы вы хоть разъ поднялись къ небесамъ, вы поняли бы, что съ высоты паденье бываетъ глубокимъ!

Развратъ! Да смѣете ли вы употреблять это слово! Не развратъ ли ужъ эти ваши мелкія трусливыя похожденьица, въ которыхъ неизвѣстно чего больше — подлаго самолюбія или зловонной слякоти. Вы не знаете всей великой тайны разврата. Вы оскверняете своимъ поганымъ прикосновеніемъ великое слово грѣхъ!

Ты хочешь знать, грѣшилъ-ли я? Да, да,—грѣшилъ,—но я за свой грѣхъ заплатилъ всей своей жизнью... Я мученикъ!.. Знаешь ты это... Мученикомъ росъ съ дѣтства, мученикомъ ляжу въ гробъ.

Я начиналъ говорить правду. Слезы давили мнѣ горло.

— Терновый вѣнецъ! — почти кричалъ я:—да знаешь-ли ты, что не вѣнецъ, а все тѣло, всѣ ноги, вся грудь,—все исколото у меня терніями.

Не вамъ судить меня, тянуть меня къ отвѣту. Это въ правѣ сдѣлать только тотъ, кто такъ же, какъ я, горѣлъ всю жизнь, кто ночами съ безумнымм воплями валялся у подножія креста Господня, кто выстрадалъ всю жгучую огненную боль религіозныхъ сомнѣній....

Я душой усумнился!.. Понимаешь ты, душой усумнился!... Суди же меня, если хочешь.... если смѣешь...

Задыхаясь, я почти упалъ на диванъ.

Глѣбовъ быстро всталъ и, положительно растроганный, потянулся ко мнѣ. Не то онъ поцѣловать меня хотѣлъ, не то просто руку пожать. Но я не двинулся съ мѣста навстрѣчу ему. И онъ, неловко кланяясь и пятясь къ двери, произнесъ скороговоркой:

— Ты ужъ слишкомъ, голубчикъ, я этого не хотѣлъ. Простите, недоразумѣніе!.. До свиданія...

Онъ ушелъ.

По обыкновенію, возбужденіе мое разомъ схлынуло. И отъ нелѣпой сцены, только что разыгравшейся, остался лишь какой то осадокъ досадной, ненужной пошлости.

И такъ всему конецъ!

Кажется, никогда съ такой осязательностью не чувствовалъ я всю безысходность и безпросвѣтность своей жизни. Казалось, жизнь не можетъ двигаться дальше. Долженъ же кто-то понять, что больше нельзя такъ.

— Вѣрочка бы!—промелькнуло въ усталомъ мозгу. Ничего ей не нужно разсказывать, она не станетъ «обличать».., Просто бы отдохнуть около нея. За руку бы взять. Нельзя же дальше такъ...

Я быстро схватилъ листъ почтовой бумаги и написалъ: «Вѣрочка, приходи, если можешь»...

IX.

Опять новая жизнь!

Ну, конечно, она пришла! Развѣ она могла не притти! Моя святая, маленькая, худенькая дѣвочка! Она только и думала обо мнѣ все это время, нѣсколько разъ сама хотѣла притти, да боялась, что «еще хуже будетъ», она не только притти готова, она все готова сдѣлать, только бы этого «никогда, никогда больше не было».

Бѣдная дѣвочка моя! Знала-ли, знала она, когда все это говорила, что произойдетъ на слѣдующій день!

Она обняла меня, прижалась всѣмъ слабенькимъ нѣжнымъ тѣльцемъ своимъ и молча цѣловала лицо мое, плечи, глаза, лобъ, волосы.

Усталый, растроганный, я тихо плакалъ и цѣловалъ ея руки не какъ любовникъ, а какъ внучекъ, ненаглядный Ленточекъ въ синей шелковой рубашечкѣ, цѣловалъ когда-то сморщенныя ласковыя руки «бабунчика».

— Усталъ я, Вѣрочка...—тихо сказалъ я.

Вотъ ужъ мы на диванѣ. Она положила подъ мою голову подушку, а сама сѣла близко-близко ко мнѣ, вся сіяя, вся любящая, добрая, прозрачная.

— Начнемъ новую жизнь,—тихо сказала она, ласково смѣясь своими ясными, почти дѣтскими глазами.

— Новую жизнь, — тоже улыбаясь, повторилъ я за ней.

Сонъ, сонъ! Сладкій послѣдній сонъ моей жизни!

Все, что только было когда-нибудь радостнаго, свѣтлаго въ душѣ моей, все разомъ воскресло и заговорило, зарадовалось во мнѣ.

Я почувствовалъ какую-то трепетную нить, которая протянулась и къ виноградному домику, и къ недавней иллюзіи «новой жизни» въ немъ и дальше въ глубь первыхъ дѣтскихъ воспоминаній. Бывали уже, бывали тогда дивные, радостные дни. Или и они тоже не больше, какъ «иллюзіи»? О, конечно, иллюзіи, коль скоро ихъ съѣло подлое время, съѣло, безжалостно глотая кусокъ за кускомъ, минуту за минутою.

Но въ тотъ вечеръ «новой жизни» я не хотѣлъ думать объ иллюзіяхъ.

Я смотрѣлъ въ глубь сіяющихъ глазъ Вѣрочки и ласковые лучи ихъ, казалось, воскрешали во мнѣ все прошлое, безвозвратное, сообщали ему какую-то нетлѣнную радость вѣчной жизни.

Волнуясь, какъ маленькій мальчикъ, я разсказывалъ ей, какой у насъ былъ прудъ въ деревнѣ, какъ въ самый садъ заливала вода за заборъ, и мы, завернувъ штанишки, потихоньку отъ старшихъ, бѣгали по водѣ и ловили тритоновъ. Вода теплая, ноги пріятно колетъ трава, солнце такъ и паритъ, такъ и блеститъ. Синія стрекозы нѣжно порхаютъ надъ самой водой, пахнетъ теплымъ иломъ и душистыми яблонями.

Я почти плачу отъ радостной неожиданности этихъ воспоминаній. Такъ бы и сорвался съ дивана и побѣжалъ вмѣстѣ съ Вѣрочкой въ садъ, въ лѣсъ, наскоро забѣжалъ бы въ клубнику и такъ на цѣлый день.

Старая жизнь, какъ казалось тогда мнѣ, воскресла въ душѣ моей и слилась невидимо съ новой, возрождающейся жизнью.

Да, это несомнѣнно былъ сонъ!

Только во снѣ могутъ такъ блаженствовать люди, такъ терять голову, такъ отдаваться иллюзіямъ.

Я все забылъ на этотъ часъ: и смерть, и зло, и добро, и святого, и дьявола. Я помнилъ только одно: радость дѣтскихъ лѣтъ и радость грядущей жизни. Прошлое и будущее таинственно сливалось въ торжествующую радость жизни.

Я не усталъ больше. Я не могу лежать. Мнѣ нужно двигаться, говорить, смѣяться.

Мы начинаемъ вспоминать Трофима Трофимыча, тетушку и хохочемъ, хохочемъ, какъ сумасшедшіе.

Вѣрочка преобразилась вся. И она тоже, вся какъ въ прошломъ. Только два года назадъ такъ неудержимо весело звучалъ ея голосъ, такъ сіяло нѣжное, хрупкое лицо ея.

Отворили окно. Холодная осенняя ночь пахнула на насъ, ворвался уличный шумъ. О, какъ хорошо! Все хорошо: и шумъ, и холодъ, и осень.

Я любилъ Вѣрочку. Любилъ, любилъ—несмотря ни на что!

Милая, жизнь моя! Я не могъ больше выдержать этой ликующей радости, этого внезапнаго безумнаго счастья. Я обнялъ ее, какъ родную, какъ чистую, ненаглядную сестру свою.

— Прости, прости, прости...

Шепталъ я, почти теряя сознаніе. Господи, да развѣ можно говорить «прости», развѣ она уже давно не простила? Все простила, все забыла и слушать не хочетъ. Ничего этого не надо. Любитъ она, любитъ. Все отдастъ за меня, жизнь отдастъ, все.

Святая моя, маленькая моя Вѣрочка!

Ей домой нужно. Завтра она опять придетъ, обязательно придетъ. Она больше никогда меня одного не оставитъ.

Мы вышли въ прихожую.

Уходитъ... значитъ такъ надо.. А завтра опять... это новая жизнь.

Уже совсѣмъ прощаясь, она сказала:

— Ты слышалъ, завтра предполагаются безпорядки.

Я ничего не слыхалъ. Но, должно быть, мое воскресеніе было неполнымъ! Во всякомъ случаѣ прежняя неожиданная для самого меня лживость и внезапность отвѣтовъ осталась.

— Слышалъ,– сказалъ я серьезно, и прибавилъ: я тоже иду.

Вѣрочка посмотрѣла на меня хорошимъ «честнымъ», взглядомъ и по-мужски пожала руку.

Ушла... Прощай, Вѣрочка!

X.

Конецъ.

Я сидѣлъ и ждалъ ее. Рѣзкій звонокъ, вѣрно, она. Я сдѣлалъ видъ, что занимаюсь, хотя цѣлый день сидѣлъ, ничего не дѣлая.

Вдругъ съ шумомъ распахнулась дверь и я увидалъ Николая Эдуардовича. Онъ былъ безъ пальто, мокрый отъ дождя, со сбившейся на сторону шляпой.

Не здороваясь, крѣпко схвативъ меня за плечи, онъ проговорилъ съ какой-то странной отчетливостью:

— Вѣрочку убили...

Я всталъ, и безжизненно, какъ трупъ, уставился на край стола.

Ни жалости, ни горя, ни испуга, ни удивленія... Да, да я зналъ это, опять точно заранѣе до мельчайшей черты все предчувствовалъ и какъ онъ войдетъ, и какъ онъ скажетъ . . . . . .

. . . . . .

Мы ѣхали молча. Николай Эдуардовичъ успѣлъ только сказать: я убѣждалъ ее утромъ не ходить, она сказала, что ты тамъ будешь и ей необходимо.

Я вошелъ въ ея комнату одинъ...

Слушайте вы, читатели отъ нечего дѣлать читающіе романы! Вамъ хочется наслаждаться эстетическими эмоціями. Уходите прочь отсюда, здѣсь мое царство, я не хочу, чтобы вы были здѣсь!

Я не хочу, чтобы вы видѣли ее на столѣ. Руки сложенныя на груди, на узенькой дѣтской груди, прострѣленной глупымъ кусочкомъ свинца! Она лежитъ, какъ и всѣ мертвецы, никому ненужная, падаль, гнилой мусоръ... А вѣдь лицо ея, она вся какъ живая,

тѣ же длинныя рѣсницы, та же полуулыбка, тѣ же мягкіе нѣжные волосы.

Я зарыдалъ, завылъ, прижимаясь къ ея твердому холодному тѣльцу.

— Вѣрочка, Вѣрочка... ты, ты!.. дѣвочка моя!..

Не помня себя, я схватилъ ее за руку, какъ живую. И въ ужасѣ отшатнулся: восковая рука съ растопыренными пальцами, какъ выточенная, холодная, неподвижная,—рука какого-то мертвеца была въ моей!

Нѣтъ тутъ Вѣрочки! Нѣтъ никого! падаль, одна падаль!..

Все падаль, всему конецъ. Всѣ издохнутъ, все гниль!

— Ура Антихристу! дико закричалъ я, и безъ шапки выбѣжалъ вонъ.

— Извощикъ, извощикъ!.. Я бросился въ пролетку.

— Къ дѣвкамъ, въ публичный домъ! . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Прошло полгода съ тѣхъ поръ, какъ произошло только что описанное событіе.

Жизнь моя кончена. Я не выхожу изъ дома и какъ сознавшее себя животное покорно дожидаюсь, когда моя «очередь». Не живу—догниваю!

Вотъ и вся моя исповѣдь!

Но на прощанье мнѣ хочется задать вамъ два вопроса. Одинъ серьезный, а другой, такъ себѣ, пустяки, почти что для шутки.

Видите-ли, когда я уже совсѣмъ кончалъ свои записки, мнѣ пришелъ въ голову странный вопросъ:

Можно-ли узнать Христа, не переживъ Антихриста?

Я знаю, что въ этомъ вопросѣ есть какая-то несообразность, но, съ другой стороны, и какая-то смутная надежда. Впрочемъ, объ этомъ сейчасъ мнѣ какъ-то страшно думать. Усталъ я.

А другой вопросъ, пожалуй, можно было бы и не задавать.

— Мнѣ хотѣлось спросить, какъ же вы въ концѣ концовъ думаете: исповѣдь это, или романъ?..

ПОСЛѢСЛОВІЕ.

Послѣсловіе.

По поводу «Антихриста» мнѣ былъ предложенъ цѣлый рядъ вопросовъ. Въ конечномъ счетѣ всѣ они сводятся къ тремъ основнымъ:

Во-первыхъ, являются-ли «Записки» исповѣдью?

Во-вторыхъ, въ какомъ смыслѣ авторъ записокъ названъ «Антихристомъ»?

И въ третьихъ, дѣйствительно-ли я думаю, что узнать Христа можно только пережив Антихриста?

Я считаю нужнымъ печатно отвѣтить на эти вопросы потому, что отвѣтъ на нихъ можетъ уяснить многія неясности въ моей книгѣ. А разъ я выпускалъ ее въ свѣтъ, т. е. значитъ по совѣсти признавалъ зачѣмъ-то нужной и важной для людей,—я не могу не считать столь же нужными и важными свои разъясненія. Тутъ дѣло не въ какихъ-нибудь необычайныхъ достоинствахъ книги, наоборотъ: недостатки художественнаго произведенія скорѣе могутъ оправдать появленіе этого послѣсловія, ибо коль скоро мнѣ не удалось выразить съ достаточной опредѣленностью въ художественныхъ образахъ то, что пережито душой,—единственное средство хоть сколько-нибудь восполнить невысказанное,—это написать послѣсловіе. Во всякомъ случаѣ, какъ бы ни было ничтожно значеніе книги, я полагаю, всякій пойметъ желаніе автора быть понятымъ вполнѣ.

Первый вопросъ, едва-ли не самый важный для разъясненія «Записокъ», въ то же время и самый трудный. Онъ настолько интименъ, что отвѣтъ на него граничитъ съ исповѣдью.

Однако, по двумъ причинамъ я считаю для себя возможнымъ, несмотря на всю трудность его, отвѣ-

тить и на первый вопросъ. Первая причина заключается въ нѣкоторыхъ личныхъ обстоятельствахъ, о которыхъ говорить здѣсь неумѣстно, и которыя въ ближайшемъ будущемъ поставятъ меня въ исключительное отношеніе къ жизни, облегчающее возможность безусловной правдивости публичныхъ признаній; вторая причина въ глубокомъ убѣжденіи моемъ, что наступаетъ время, когда на религіозныхъ людей возлагаются громадныя историческія задачи, связанныя съ неменѣе громаднымъ личнымъ подвигомъ. Въ такое время каждый долженъ помогать другъ-другу и нести свой религіозный опытъ другимъ людямъ, какъ бы слабъ, немощенъ, недостоинъ ни былъ самъ.

Итакъ, первый вопросъ почти дословно повторяетъ послѣдній вопросъ «Записокъ»: «Исповѣдь это или романъ».

По совѣсти говорю, мнѣ немыслимо было бы односложно отвѣтить на этотъ вопросъ,—да или нѣтъ. Мнѣ пришлось бы сказать: да, исповѣдь, да, романъ.

Чтобы дѣйствительно отвѣтить на вопросъ, чтобы дѣйствительно разъяснить въ какомъ смыслѣ это исповѣдь и въ какомъ смыслѣ романъ, я долженъ, хотя бы въ общихъ чертахъ, сказать о самомъ мучительномъ періодѣ моего религіознаго развитія.

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ во мнѣ закончился переходъ отъ юношескаго «гимназическаго» отрицанія къ положительной религіи.

Въ отрочествѣ я отдалъ дань, какъ и большинство нашей интеллигенціи, и теоретическому отрицанію, и увлеченію Писаревымъ, Михайловскимъ, а въ болѣе позднiй возрастъ увлеченію Шопенгауромъ и Ницше. Подъ словами «закончился переходъ» я вовсе не разумѣю прекращеніе всякаго рода теоретическихъ сомнѣній и хотя бы временное приближеніе къ безусловной правдѣ въ сферѣ личной жизни. Нѣтъ. Но въ смыслѣ теоретическомъ для меня уже съ несомнѣнностью опредѣлилось, что въ христіанствѣ заключена полнота истины, а въ смыслѣ новаго отношенія къ жизни для меня столь же опредѣленно христіанство

встало уже, какъ задача и смыслъ моего существованія.

Я начиналъ съ радостнымъ восторгомъ, который поймутъ всѣ вѣрующіе люди, ощущать въ себѣ робкіе проблески зарождающейся религіозной жизни, меня начинала волновать таинственная сладостная надежда; хотѣлось всѣхъ полюбить, всѣмъ простить, ношу всю взять на свои плечи, хотѣлось подвига, новой «преображенной» жизни!

И вотъ въ это время, сначала почти безсознательно, въ видѣ какого-то тяжелаго, грязнаго, мертваго осадка на душѣ, а потомъ уже съ полной отчетливостью я съ ужасомъ замѣтилъ въ себѣ какого-то д в о й н и к а.

Это былъ мой образъ, плодъ моей фантазіи, если хотите, вышедшій незамѣтно, но властно изъ какихъ-то тайниковъ духа. Онъ былъ совершенно такой-же, какъ я по своему виду, по своей жизни, и въ то же время д і а м е т р а л ь н о мнѣ противоположенъ.

Опредѣлившись, этотъ «образъ» занялъ совершенно исключительное положеніе въ моей жизни; точно это было не мое воображеніе, а ж и в о е, вполнѣ реальное, хотя и никому не видимое существо.

О н ъ сопровождалъ каждый шагъ моей жизни. Что бы я не говорилъ, чтобы я не дѣлалъ, онъ діаметрально противоположенъ по существу, но съ безусловной тожественностью по внѣшности повторялъ и мои слова, и мои дѣйствія. Даже въ рѣдкія минуты, когда я уже могъ молиться, и онъ вставалъ на молитву въ моемъ воображеніи, и молился вмѣстѣ со мной, какъ-то рядомъ въ моемъ сознаньи, хотя и діаметрально мнѣ противоположно.

Я совершенно не въ силахъ былъ объяснить себѣ почему, но для меня стало ясно, что я долженъ побѣдить въ себѣ что-то, чтобы освободиться отъ этого кошмарнаго образа, что этотъ образъ не такъ себѣ, не какое-нибудь нервное разстройство, или простое случайное явленіе. Что это в р а г ъ мой, что между нами идетъ борьба не на жизнь, а на смерть, что

здѣсь таится возможность моей окончательной духовной гибели.

Чѣмъ дальше шло время, тѣмъ онъ становился отчетливѣе и, дѣлая тоже, что и я, какъ-то б л и ж е подходилъ ко мнѣ.

Наконецъ, была такая одна минута, описать которую я даже приблизительно не въ силахъ, когда я и онъ встрѣтились лицомъ къ лицу, когда кто-то во мнѣ долженъ былъ выбрать или м е н я или е г о.

Теперь, когда уже все это стало прошлымъ, я во всей ясности сознаю, ч т о тогда рѣшалось.

И вотъ «записки страннаго человѣка» есть и с п о в ѣ д ь моего двойника. Вотъ почему Антихристъ въ одно и то же время и р о м а н ъ и и с п о в ѣ д ь. Романъ, потому что все же этотъ образъ есть плодъ моего воображенія, есть мое творческое созданіе. Исповѣдь,—потому что это не простой продуктъ воображенія, не просто художественный образъ, а нѣчто имѣющее болѣе органическую связь съ моей душой.

Отвѣтъ на второй вопросъ: въ какомъ смыслѣ авторъ «Записокъ» названъ Антихристомъ,—тѣсно соприкасается съ нѣкоторыми основными проблемами христіанской философіи, излагать которыя здѣсь нѣтъ никакой возможности, а потому для тѣхъ читателей, которые никогда не интересовались сферой религіозныхъ идей, я боюсь, что онъ останется не вполнѣ яснымъ.

Среднее не-религіозное интеллигентное сознаніе воспринимаетъ слово «Антихристъ», какъ туманный фантастическій образъ, созданный въ древности и удержавшійся въ настоящее время лишь въ вѣрованіяхъ темныхъ массъ, на ряду съ вѣрой въ домовыхъ, русалокъ, лѣшихъ и т. д. Вѣра въ Антихриста свѣтскихъ мыслителей, какъ, напримѣръ, покойные Вл. Соловьевъ или князь С. Н. Трубецкой, либо вовсе игнорируется, либо объясняется тѣми отвлеченными

чудачествами, которыя простительны мистикамъ-философамъ, ни къ чему не обязываютъ, и вообще дѣло ихъ личное, нѣчто въ родѣ какой-нибудь дурной привычки.

Въ отношеніи духовныхъ писателей дѣло рѣшается еще проще: ихъ вѣра завѣдомая ложь, грубая фальсификація, подобна вѣрѣ въ чудотворныя иконы и заздравные молебны.

Никому изъ представителей нашей средней интеллигенціи, которая обычно не беретъ на себя труда по крайней мѣрѣ узнать то, что она отрицаетъ,—вѣроятно и въ голову не приходитъ, что идея Антихриста есть величайшая, можно сказать, міровая идея, придающая всей религіозной концепціи и законченность, и красоту, и силу.

Впрочемъ, если даже откинуть религіозный смыслъ Антихриста, то и тогда, съ чисто исторической точки зрѣнія, чаяніе его пришествія врядъ-ли можетъ быть названо безусловной нелѣпостью и невѣжественной, дикой грезой. Разумѣется, лишенное религіозной почвы, оно становится ни на чемъ не основаннымъ и потому не научнымъ,—но все же остается вполнѣ правдоподобнымъ.

Вѣдь несомнѣнно, что до пришествія Христа въ еврейскомъ народѣ жила идея Мессіи, какого-то лица, съ которымъ связывалась мысль объ міровомъ переворотѣ; жила смутная надежда, «фантастическая» греза о какомъ-то новомъ Царѣ новаго Царства. И какъ бы мы не относились ко Христу—всякій признаетъ, что въ извѣстномъ смыслѣ все же сбылись эти смутныя историческія предчувствія.

Почему же Христосъ, лицо, открывшее собой новую эру христіанской европейской исторіи, могъ быть и былъ, а Антихристъ, лицо, которое выступитъ на окончательную борьбу съ Христомъ, во имя новыхъ откровеній, которыя такъ же могутъ оказаться новой эрой,—кажется столь же неправдоподобнымъ, какъ лѣшій или водяной дѣдушка?

Повторяю, такого рода разсужденіе о д о п у с т и-

мости вполнѣ возможно съ какой угодно, самой что ни на есть научной точки зрѣнія. Въ лучшемъ случаѣ, здѣсь можно говорить не о томъ, что это нелѣпость, абсурдъ, а о томъ, что ожиданіе такое ни на чемъ не основано.

Разумѣется, совершенно иное отношеніе къ Антихристу съ точки зрѣнія религіознаго сознанія. Въ идеѣ Антихриста получаютъ свое разрѣшеніе, свою законченность самые жгучіе вопросы, самыя глубокія религіозныя переживанія: смыслъ міровой исторіи, идея прогресса, смыслъ жизни, вообще отношеніе къ судьбамъ человѣчества и вселенной,—все это безъ Антихриста не получило бы своего разрѣшенія въ христіанствѣ, и гигантская по глубинѣ и захвату концепція христіанская была бы безъ вершины, безъ послѣдняго слова,—и все бы въ ней распалось, разрознилось. Христіанство не какую-нибудь отдѣльную полосу жизни, одинъ рядъ проблемъ приводитъ въ стройную систему, оно все разрѣшаетъ, все включаетъ въ себя, все охватываетъ, всему даетъ смыслъ, значеніе, оправданіе.

Великое и таинственное слово свобода, какъ творческая безпричинность, положена христіанствомъ въ основу пониманія міра.

Свободнымъ актомъ міръ отпалъ отъ Божества, раскололся, разрознился, отдѣльныя части самоутвердились, обособились и породили борьбу; длиннымъ мучительнымъ путемъ міръ свободно возстанавливается въ своемъ единствѣ!

Вся жизнь вселенной, отъ ничтожной жизни инфузоріи до сложной жизни человѣческаго генія, давно вымершія дикія племена и новые народы, еще не вышедшіе на историческую сцену,—все въ идеѣ богочеловѣчества получаетъ свою стройную законченность. Человѣкъ уже не теряется въ безграничномъ морѣ отдѣльно живущихъ организмовъ, земля не блѣднѣетъ подъ яркими лучами безчисленныхъ звѣздъ, безчисленныхъ солнечныхъ системъ.

Все начинаетъ жить, какъ стройный единый организмъ, разрозненное становится стройнымъ, хаосъ приходитъ въ порядокъ. Каждая индивидуальность, каждый атомъ—все въ идеѣ богочеловѣчества находитъ и свое мѣсто, и свой смыслъ.

Страшное, безпорядочное чудовище зачѣмъ то, куда-то несущееся, именуемое жизнью, въ христіанствѣ становится великимъ, радостнымъ общимъ дѣланіемъ. Духовнымъ очамъ открываются великія судьбы и человѣчества, и міра. Туманное слово «прогрессъ» изъ безцвѣтнаго ученія о какомъ-то всеобщемъ благополучіи, которое воздвигнется на «унавоженной» трупами, слезами и кровью почвѣ, получаетъ свой настоящій смыслъ, который все же безсознательно, наперекоръ своимъ логическимъ опредѣленіямъ, вкладывали въ него всегда лучшіе люди.

Исторія міра встаетъ, какъ цѣльный, полный глубочайшаго смысла путь къ окончательной гармоніи, къ преображенію тлѣннаго міра, путь къ новой землѣ и новымъ небесамъ, къ вѣчной радостной жизни въ Богѣ.

Исторія міра для христіанъ медленное, свободное раздѣленіе Добра и Зла. Раздѣленіе, на одну сторону котораго встанетъ все готовое къ возсоединенію съ Творцомъ своимъ,—на другую все стремящееся къ окончательному самоутвержденію.

Все міровое зло соберется въ одинъ сгустокъ крови, всѣ дѣтища самоутвержденія: страданія, смерть, тлѣніе, злоба—все соберется въ одно мѣсто, въ одну безпросвѣтную, пустую бездну и изъ бездны той выйдетъ Звѣрь, страшный образъ послѣдняго самоутвержденія —Антихристъ.

Въ окончательной борьбѣ Христа и Антихриста, въ побѣдѣ Добра надъ Зломъ и въ преображеніи матеріи, и всей жизни, какъ слѣдствіе этой побѣды,—получаютъ свой отвѣтъ, свое успокоеніе всѣ вопросы, которыми изболѣлось человѣчество и отъ которыхъ безъ Христа не излѣчится никогда! Вопросы о смыслѣ жизни, о смыслѣ страданія, о судьбѣ міра...

Итакъ, почему же герой моихъ «Записокъ» наз-

ванъ Антихристомъ? Въ связи съ только что сказаннымъ, на вопросъ этотъ могу отвѣтить такъ:

Если бы наше зрѣніе было чисто, если бы могли видѣть, что все видѣнное нами, только отблескъ, только тѣни отъ незримаго очами», если бы мы могли прорвать тлѣнную кору міра, черезъ которую люди прорываютъ только цѣною смерти, — то мы увидали и поняли бы, что внѣшній прогрессъ, внѣшнее измѣненіе міра обусловливается внутренними процессами, внутренними его измѣненіями. Мы увидали бы, что состояніе Зла не одинакововъ эпоху великаго переселенія народовъ и въ наше время. Зло «возрастаетъ», оно питается, множится, подымаетъ голову. Звѣрь еще не можетъ встать на ноги и выйти изъ бездны, но уже явственно чувствуется дыханіе его.

И если бы мы могли заглянуть въ бездну, если бы мы были надъ ней, то опять-таки очамъ нашимъ иное бы открылось въ эпоху первыхъ вѣковъ христіанства, иное въ эпоху нашу.

Я назвалъ автора «Записокъ» Антихристомъ потому, что по моему глубокому убѣжденію, если бы въ настоящее время могъ воплотиться Антихристъ, если бы личинка чудовища могла сейчасъ принять человѣческій образъ,—и человѣкъ этотъ написалъ бы свою исповѣдь, онъ написалъ бы именно то, что написано въ «запискахъ страннаго человѣка». Я не говорю, что я все выразилъ, что я все исчерпалъ. Но главныя черты, мнѣ думается, переданы вѣрно.

Я пришелъ къ заключенію, что мой двойникъ, мой кошмаръ, мучившій меня образъ, было точное изображеніе того, что въ настоящее время «подползаетъ» къ міру.

Я теперь осмыслилъ свое тогдашнее религіозное состояніе и съ полной ясностью вижу, что та погань въ душѣ моей, которая впервые почувствовала настоящую опасность для себя въ зарождавшейся во мнѣ религіозной жизни,—имѣла органическую связь

съ міровымъ Зломъ, съ коллективнымъ Антихристомъ, и потому я, возставъ, хотя и очень робко, на эту погань и грязь, встрѣтился лицомъ къ лицу съ тѣмъ, кто былъ ея носителемъ. Побѣдивъ въ себѣ этотъ образъ, я, разумѣется, не дѣлался безгрѣшнымъ, но я уже, какъ христіанинъ, выбиралъ себѣ Господина. Я окончательно выбиралъ себѣ путь.

Такимъ образомъ, исповѣдь моего двойника, исповѣдь того, кто всталъ въ моей душѣ защищать свои права, права на Зло,—есть исповѣдь Антихриста въ данный моментъ его мірового развитія.

Отвѣтъ на третій вопросъ,—дѣйствительно ли я думаю, что узнать Христа можно только переживъ Антихриста,—въ значительной степени вытекаетъ изъ всего мною уже сказаннаго.

Да, я дѣйствительно думаю, что на пути ко Христу обязательна для всякаго въ томъ или иномъ видѣ встрѣча съ Антихристомъ.

Характеръ этой встрѣчи, время ея, вся психологія борьбы—все это зависитъ отъ склада душевнаго, отъ обстановки, среды и тысячи другихъ внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ, но встрѣча все же будетъ и борьба не на жизнь, а на смерть неизбѣжна.

Безъ боли, безъ страшнаго внутренняго разрыва съ «прошлымъ», «ветхимъ», «мертвымъ» человѣкомъ не можетъ родиться новый человѣкъ; безъ мученій Добро не отдѣляется отъ Зла. Зло слишкомъ когтисто, чтобы съ легкостью отдать свою добычу, оно слишкомъ «впилось» въ нее, чтобы можно было вырвать ее безъ крови.

При малѣйшей попыткѣ жить по настоящему, при первомъ, самомъ робкомъ шагѣ ко Христу, дорогу преграждаютъ чьи-то страшныя руки и безъ бою, безъ пытки, не «переживъ Антихриста», ко Христу не приблизиться никогда.

Но не многимъ людямъ приходится переживать и видѣть образъ всего Звѣря, ибо каждый борется и

видитъ передъ собой только то, на что Антихристъ имѣетъ право, видитъ отраженіе только того, что въ душѣ принадлежитъ Злу. Вотъ почему, считая «страннаго человѣка» за типъ, воплощающій всѣ основныя черты, религіозную сущность Антихриста въ данную эпоху, я убѣжденъ, что въ большей или меньшей степени, въ томъ или иномъ отношеніи, но «страннаго человѣка», безобразнаго двойника моего, всякій, хоть краешкомъ однимъ, но пережилъ самъ.

Въ заключеніе позволю себѣ сказать слѣдующее.

Я признаю вполнѣ искренно, что книга моя имѣетъ много литературныхъ погрѣшностей. Все же я считалъ и считаю опубликованіе ея необходимымъ дѣломъ своей религіозной совѣсти. Религіозный опытъ мой не могъ и не долженъ принадлежать одному мнѣ.

Да, конечно, съ Антихристомъ боролись, борятся и будутъ бороться многіе люди, безконечно меня достойнѣйшіе. Несомнѣнно, что и Гаршинъ, вырвавшій изъ сердца своего красный цвѣтокъ, и Глѣбъ Успенскій, великій страдалецъ за народъ, не говоря уже о «полубѣсноватомъ-полусвятомъ» Достоевскомъ или великомъ философѣ земли русской Вл. Соловьевѣ, всѣ они боролись ни съ чѣмъ инымъ и въ себѣ и въ жизни, какъ все съ тѣмъ же звѣремъ—Антихристомъ.

И я былъ бы безумцемъ, если бы осмѣлился думать, что хоть тысячную долю сдѣлалъ въ этой борьбѣ того, что сдѣлали они.

И все же пережитое мной индивидуально, впервые, не какъ литературные перепѣвы, а плотью и кровью своей, я обязанъ былъ передать другимъ.

Если написалъ безъ достаточнаго таланта—пусть простятъ: я выполнилъ свой долгъ, насколько хватило силъ.